



АНАТОМИЯ ИЛЛЮЗИЙ

ИНИЦИАЦИЯ

КИРА КРАЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

18+

Кира Край

Книга первая. Инициация

«Автор»

2026

Край К.

Книга первая. Инициация / К. Край — «Автор», 2026

В Сент-Освальде смерть умеют красиво прятать. Древний университет магии стоит на острове, отрезанном от мира, и живет по законам крови, денег и молчания. Эва Каррен — стипендиатка с самых низов, лишняя среди наследников великих Домов. Она привыкла быть незаметной. Пока не находит тело Вивиан Астье — звезды университета, девушки, которая видела будущее и все равно умерла в комнате, запертой изнутри. Официально — самоубийство. На деле — убийство, доказать которое невозможно. Единственный путь к правде ведет в «Золотое сечение» — закрытый клуб пяти избранных, где место Вивиан теперь предлагают Эве. Там ее ждут чужие тайны, магия, ломающая реальность, и Кристиан Вейер — человек, который смотрит на нее так, будто уже решил, кем она станет. Эва входит в игру, чтобы найти убийцу. Но чем ближе разгадка, тем яснее: Сент-Освальд не просто скрывает монстров. Он их создает.

© Край К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Мертвая петля	5
Глава 2. Чтение следа	10
Глава 3. Иллюзия порядка	14
Глава 4. Золотое сечение	18
Глава 5. Тупик и навязчивость	22
Глава 6. Танец на ножах	25
Глава 7. Приманка	28
Глава 8. Комната мертвеца	31
Глава 9. Находка	34
Глава 10. Логово	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Кира Край

Книга первая. Инициация

Глава 1. Мертвая петля

К четвертому часу ночи перчатки уже не спасали.

Эва знала это заранее — знала по тому, как немеют подушечки пальцев и как тонкая кожа на ладонях начинает зудеть изнутри, словно под ней просыпается чья-то чужая, давно остывшая жизнь. Две выделки телячьей кожи задерживали почти все. Но «почти» имело подлое свойство копиться. К концу седьмого часа в закрытом крыле даже сквозь перчатки в нее просачивалось то, что оставили после себя мертвые: тонкий, ноющий осадок чужих привычек, чужих обид, чужого ожидания, которому давно некого ждать.

Сейчас в ее руках был портсигар. Тяжелый, потемневший, с монограммой, стертой большим пальцем за сорок лет до того, как его владельца не стало. Эва держала его двумя пальцами, как держат вещь, которая может укусить, и заносила в опись: номер, шифр секции, краткое описание. «Портсигар, латунь, личный, фон умеренный». Графа «фон» была ее работой. За нее ей и платили — вернее, не платили, а вычитали из долга, который она была должна Университету просто за то, что дышала его сырым, пропитанным озоном воздухом. Один заполненный лист описи — три монеты в счет стипендии, которую стипендией никто, кроме бумаг, не называл.

Через перчатку портсигар отдавал ровным, скучным теплом — застарелым самодовольством человека, который всю жизнь был чуть богаче и чуть глупее, чем сам о себе думал. Ничего острого. Эва давно научилась отличать опасное от безобидного, не снимая перчаток: опасное давит, безобидное гладит. Этот гладил. Она опустила его в ячейку с биркой, придвинула следующий лоток и на секунду — всего на одну — закрыла глаза.

Под веками было темно и тихо, и это было единственное место за весь день, где ее никто не трогал.

Снаружи выл ветер. Он выл здесь всегда, сколько Эва себя помнила на острове, — а помнила она уже два месяца, с того серого октябрьского утра, когда черный экспресс выплюнул ее на платформу под небом цвета мокрого свинца и мост за спиной поднялся, отрезав сушу до июня. Свинцовое море било в скалы где-то далеко внизу, за многометровой кладкой, и в башнях это было слышно как ровный, тяжелый гул, будто сам Сент-Освальд дышал сквозь камень. Наверху, в теплых верхних ярусах, под этот гул спали те, чьи прадеды и оставили после себя портсигары. Они спали в постелях с пологам, и утром им подадут завтрак, и никому из них в голову не придет, что всю ночь в подвальном холоде закрытого крыла стипендиатка с ободранными от чернил пальцами перебирала теплый прах их родни.

Эва не завидовала. Зависть была роскошью, на которую у нее не хватало сил. Она просто отмечала — как отмечала все, всегда, сколько себя знала. Привычка замечать была старше Университета, старше ее магии, старше даже того дня, когда она впервые поняла, что чувствует чужое раньше, чем его успевают сказать вслух. В другом доме, в другой жизни, очень далеко отсюда, эта привычка однажды спасла ей если не жизнь, то лицо: она научилась читать комнату по тому, как меняется в ней воздух, за полшага до того, как поднималась рука. Здесь, в Сент-Освальде, ту же самую способность аккуратно занесли в графу «фон», выдали ей перчатки и поставили на ночное дежурство. Иногда Эва думала, что это и есть самая честная вещь, которую с ней сделал Университет: назвал ее дар работой и приставил к делу. Все остальное здесь вралю.

Она открыла глаза. До конца смены оставались два лотка и обход.

Обход она ненавидела больше описи. Опись можно было делать хотя бы сидя.

В закрытом крыле Ректората полагалось дважды за ночь обойти запертые двери и убедиться, что защитные контуры на них целы. Контуры были тонкими — паутина сигил, вплавленных в металл, — и живыми: если приложить к ним ладонь, под кожей отзывался ровный, едва слышный гул, как от струны, тронутой где-то очень далеко. Этот гул был у каждой двери чуть свой, и за два месяца Эва выучила их, сама того не желая, как выучиваешь голоса соседей за стеной. Дверь архива гудела низко и сыто. Дверь препараторской — нервно, на грани писка. Контур на кабинете старшего смотрителя дребезжал, потому что его не меняли лет двадцать.

Она прошла коридор до конца, касаясь перчаткой каждой двери. Гул, гул, гул — мир был на месте, печати держали, мертвые вещи спали в своих ячейках. На повороте к восточной галерее она машинально протянула руку к последней двери — узкой, дубовой, без таблички, в самом тупике, куда свет газовых рожков почти не доставал, — и остановилась.

Дверь молчала.

Не «гудела тихо». Молчала. Под перчаткой не было ничего — ни струны, ни далекого отзвука, ни даже того остаточного тепла, что держится в металле просто оттого, что его коснулась живая рука. Контур был на месте: Эва видела при свете рожка тонкую вязь сигил, целую, замкнутую, ни одной разорванной линии. Но он был мертв. Кольцо, которое сомкнулось само на себе и больше никуда не вело. Будто кто-то изнутри затянул петлю до отказа и обрезал концы.

Мертвая петля. Так это называлось в тех немногих лекциях, которые до нее доходили, — печать, запертая с внутренней стороны и закольцованная так, что снаружи ее не разомкнуть и не прочесть. Ею пользовались, когда хотели, чтобы внутрь не вошел никто. Совсем никто. Эва ни разу не видела такую живую — только схему на доске и сухую приписку профессора на полях: «применяется редко, ввиду необратимости».

Она стояла перед молчащей дверью, и усталость в ней спорила с чем-то другим, что просыпалось медленнее, но было упрямее усталости.

Уйти было бы правильно. Это первое, что сказал ей внутренний голос — тот самый, который два месяца твердил одно и то же на всех языках разом: не лезь, не смотри, не будь заметной, заметных быют первыми. Запертая дверь в чужом крыле — не ее дело. Ее дело — два лотка, обход и койка до подъема. Если за этой дверью что-то не так, об этом узнают те, кому положено, и хорошо, если Эвы не окажется рядом, когда они придут узнавать. Стипендиатке без родни и без денег нельзя оказаться рядом с «не так». Это она усвоила раньше всех правил Сент-Освальда. Это она усвоила еще до того, как у нее появилось имя, которое стоило бы запомнить.

И все же она не уходила.

Потому что — и тут усталый голос замолкал, не находя слов, — потому что под мертвой петлей, в самой глубине этой неестественной тишины, что-то было. Не гул контура. Что-то ее собственное, эмпатическое, что снимало с этого тупика тончайший слой и не понимало снятого. Так бывает, когдаходишь в комнату, из которой только что вышли, крупно поругавшись: людей уже нет, а воздух еще стоит дыбом. За этой дверью воздух стоял дыбом. И стоял, судя по плотности осадка, не минуту и не час.

Эва прижала ладонь к дубу плотнее. Перчатка глушила, но даже сквозь нее — там, внутри, под мертвой тишиной петли — проступило одно-единственное, как одна нота, взятая в пустом зале: чужой, очень большой, очень аккуратно сложенный ужас.

Она отдернула руку, будто обожглась.

— Не положено там стоять.

Голос за спиной был хриплым и шел откуда-то снизу, из груди, заваленной сорока годами дешевого табака. Эва обернулась медленно — она давно отучилась оборачиваться резко, резкость провоцирует — и увидела смотрителя Госса: сутулого старика-профана с фонарем, связ-

кой ключей на поясе и лицом, на котором ночные дежурства выели все, кроме привычки не задавать вопросов.

— Контур мертвый, — сказала Эва. Голос вышел ровнее, чем она ждала. — На этой двери. Петля затянута изнутри.

Госс прищурился на дверь, потом на нее. Профаны не чувствовали контуров — для него тупик был просто тупиком, дверью без таблички, каких в крыле десятки.

— Чье это? — спросила Эва. — Чей кабинет.

Старик помолчал, шевеля губами, будто ему не хотелось вспоминать, а еще больше не хотелось говорить вслух.

— Барышни Астье, — выговорил он наконец. И, словно это что-то объясняло, добавил тише: — Той самой.

Той самой. Эве не нужно было уточнять. Вивиан Астье — имя, которое в Сент-Освальде произносили так, как произносят имена святых и эпидемий, с одинаковым полупоклоном. Звезда. Гордость. Девочка из «Золотого сечения», про которую даже стипендиатам у сквозняка за обеденным столом было известно: говорили, она видит. Не угадывает — видит. Будущее раскладывалось перед ней, как пасьянс, и из всех вариантов она всегда вынимала тот, где остается цела. Про таких, как Вивиан Астье, не спрашивают, все ли с ними хорошо. С такими по определению все хорошо — всегда, во всех вариантах сразу. Это и делало их той самой породой, на которую снизу смотрели, задрав голову, и не мечтали даже завидовать.

И вот ее кабинет был заперт мертвой петлей, а из-под петли тянуло ужасом такой плотности, что Эву мутило сквозь перчатку.

— Надо открыть, — сказала Эва.

— Нельзя. — Госс уже отступал, и связка ключей на его поясе глухо звякнула. — Без распоряжения нельзя. Утром придут, кому положено

— До утра шесть часов. — Эва сама не узнала своего голоса: в нем не было просьбы. — Если за этой дверью кому-то плохо, к утру это станет неважно. Открывайте. Я отвечу, если что.

Это была ложь, и они оба ее услышали. Стипендиатка без имени не могла ни за что ответить — ее слово стоило ровно три монеты за лист описи. Но в коридоре было четыре часа ночи, и было холодно, и из-под двери тянуло так, что даже Госс, ничего не чувствуя, чувствовал: что-то не так. А когда что-то не так, людям до смерти хочется, чтобы рядом оказался кто-то, готовый сказать «я отвечу». Неважно, правда это или нет.

Старик выругался себе под нос — длинно, без злобы, как ругаются на погоду, — снял с пояса связку и попробовал ключ. Эва знала, что ключ не поможет. Мертвую петлю не открывают ключом; ее вообще не открывают. Госс знал это иначе, на ощупь сорока лет, — он повернул ключ, толкнул, провернул снова, и замок не ответил, как не отвечает замок на двери, за которой не осталось механизма, только закольцованная воля, затянута до отказа. Тогда он сходил за ломом.

Ломали долго. Дуб был старый и честный, петля держала не металлом, а тем, чего лом не брал, и в конце концов сдалась не она, а сама дверь — треснула по косяку, выворотив язык замка вместе со щепой. Контур под Эвиной ладонью при этом не вспыхнул, не взвыл, не сделал ничего. Он был мертв и остался мертв. Просто перестал быть на двери, которой больше не было.

Запах вышел им навстречу первым.

Не запах смерти — Эва, выросшая там, где она выросла, знала тот запах и приготовилась к нему. Его не было. Из кабинета пахло холодом, старой бумагой, остывшим чаем и тонко, поверх всего, озоном — той сухой грозовой ноткой, что всегда висит там, где недавно ломали реальность. Эва замерла на пороге, Госс с фонарем из-за ее плеча — тоже, и желтый свет вполз в комнату.

Комната была в идеальном порядке.

Вот что Эва увидела первым — не тело, а порядок. Книги стояли корешок к корешку. Бумаги на столе лежали стопкой, выровненной по краю столешницы, словно по линейке. Перо покоилось в подставке. Чашка стояла на блюдце, и в ней даже оставалось на палец остывшего чая, и блюдце стояло строго по центру салфетки, и салфетка лежала без единой складки. Стул был отодвинут от стола ровно настолько, насколько отодвигают стул, вставая, — не опрокинут, не отброшен. В этой комнате не случилось ничего. Никто не боролся, не падал, не цеплялся за край стола, не ронял чашку. В этой комнате кто-то спокойно работал, отодвинул стул, чтобы встать, — и не встал.

Вивиан Астье лежала на полу между столом и книжным шкафом, и она тоже была в идеальном порядке.

Светлые волосы легли так ровно, будто их расправили чужой рукой. Руки покоились вдоль тела. Платье не задралось и не смялось. Глаза были открыты — и вот они единственные не вписывались в порядок комнаты, потому что были устремлены в потолок с выражением, которому Эва не находила названия, сколько ни перебирала слов. Не страх. Страх искажает лицо. Здесь лицо не было искажено ничем. Скорее — внимание. Запредельное, на разрыв, внимание к чему-то, чего в комнате не было и быть не могло. Как будто Вивиан Астье в последнюю свою секунду смотрела на нечто очень важное и очень быстро уходящее и пыталась запомнить.

И ни капли крови. Ни на полу, ни на ней, ни на белом мраморе подоконника, на который падал теперь желтый свет фонаря. Кровь на белом мраморе всегда выглядит как беспорядок, как клякса поверх чистого листа, но здесь не было даже этого. Чистый лист остался чистым. Смерть прошла по этой комнате, не сдвинув ни одной вещи, аккуратно, по инструкции, и затворила за собой дверь изнутри.

Где-то на краю сознания Эвы дежурный голос уже привычно вел опись: тело, женское, молодое, без видимых повреждений, фон — и тут голос осекся, потому что графа «фон» здесь не помещалась ни в одно из ее слов. Эва поймала себя на том, что стоит над мертвой девочкой и каталогизирует ее, спокойно, по пунктам, как портсигар, — и не почувствовала по этому поводу ничего, кроме далекого, холодного узнавания: вот так, оказывается, я и стою, когда мне страшно. Очень тихо и очень внимательно. Как тогда. Как всегда. Замечаю, чтобы выжить.

Госс за ее плечом выронил что-то благочестивое и попятился, и фонарь в его руке заходил, гоняя тени по идеальному порядку.

— Сама на себя руки наложила, — выдохнул он. — Заперлась и Господи. Бедная барышня. Заперлась изнутри и сама

Эва не ответила.

Потому что это было неправильно, и неправильность сидела в самой середине комнаты, и Эва, еще не зная как, уже знала это всем существом — тем, чем она знала комнаты раньше людей. Девочка, которая видела все варианты будущего и из каждого вынимала тот, где цела. Девочка, перед которой смерть раскладывалась пасьянсом за дни, за недели. Как такую запереть в комнате? Как такую вообще застать врасплох — ее, видевшую каждую дверь, в которую можно уйти, каждую секунду, в которую можно было не сесть за этот стол? Чтобы убить ту, кто видит все свои спасения, надо сначала отнять у нее все спасения сразу. А этого, говорил весь ее опыт, весь ее дар, все в ней, — этого нельзя.

И еще — ужас. Тот огромный, аккуратно сложенный ужас, который Эва сняла с двери сквозь перчатку. Самоубийцы так не уходят. Эва однажды чувствовала, чем пахнет решимость человека, который сам выбрал; это была усталость, и тишина, и что-то почти похожее на облегчение. Здесь не было ни усталости, ни тишины, ни облегчения. Здесь, под идеальным порядком, в воздухе, стоявшем дыбом, висел чистый, первобытный, разрывающий легкие ужас существа, которое не хотело, изо всех сил не хотело — и которому не дали.

— Сходите за охраной, — сказала Эва.

Голос вышел чужим — ровным, тихим, тем самым, которым она когда-то, маленькая, говорила взрослым то, что они хотели услышать, чтобы рука не поднялась. — Сходите. Я постою. Кому-то надо постоять, чтобы здесь ничего не трогали до их прихода.

Госс был только рад уйти. Профаны вообще рады любому поводу уйти от такого; а старик к тому же не понимал, отчего эта тощая девчонка-стипендиатка вдруг заговорила так, будто имеет право распоряжаться, и не хотел понимать. Он сунул ей фонарь — Эва приняла его машинально, — пробормотал, что мигом, что начальник караула в восточном посту, и его шаркающие шаги затопали прочь по коридору, все тише, тише, пока их не съел вечный гул моря в камне.

И Эва осталась одна.

Одна — с идеальным порядком, с остывшим на палец чаем, с салфеткой без складок и с мертвой девочкой, которая в последнюю секунду смотрела в потолок так, будто пыталась запомнить уходящее. Желтый свет фонаря стоял в комнате неподвижно. Озон оседал на язык. За окном, не видимое в темноте, билось о скалы свинцовое море.

Эва знала, что должна стоять и ждать. Что охрана придет, и Ректорат придет, и будет лучше, гораздо лучше для никому не нужной стипендиатки без родни, если к их приходу она окажется всего лишь тихо стоящей у двери с чужим фонарем и ничего, ничего не тронувшей. Ее собственный голос, тот, что два месяца твердил «не лезь, не смотри, не будь заметной», сейчас не твердил — он орал.

Она опустила на колени рядом с Вивиан Астье. Медленно, чтобы не задеть, не сдвинуть, не нарушить идеальный порядок, в который кто-то так старательно уложил эту смерть.

И начала стягивать перчатку с правой руки.

Палец за пальцем. Кожа выходила из кожи с тихим шорохом, и с каждым обнаженным сантиметром мир в комнате становился ближе, плотнее, опаснее — Эва чувствовала его наступление, как чувствуешь воду, поднимающуюся к горлу. Перчатка была ее последней стеной. Сними ее — и комната войдет в нее целиком, без фильтра, со всем, что в ней осталось. Эва знала, чем это кончится. Она достаточно читала мертвые вещи, чтобы понимать: одно дело портсигар, и совсем другое — то, что висит в воздухе, который стоит дыбом несколько часов подряд. Это будет больно. Может быть, очень.

Но иначе она никогда не узнает, права ли она. А ей, кажется, впервые за два месяца в этих стенах хотелось узнать что-то так сильно, что она готова была за это заплатить.

Голая ладонь застыла в воздухе над мраморным полом — над тем местом у виска Вивиан, где смерть прошла последней.

Эва задержала дыхание и опустила руку.

Глава 2. Чтение следа

Мрамор под голой ладонью был холодным — и это было последнее, что еще принадлежало Эве.

Потом комната вошла в нее.

Не постепенно, как входил сквозь перчатку портсигар, — не тонким ровным теплом, которое можно отложить в ячейку и забыть. Без перчатки не было фильтра, не было стены, не было даже кожи как границы между «здесь я» и «здесь не я»: ладонь легла на то место у виска Вивиан, где смерть прошла последней, и след поднялся ей навстречу разом, всем своим объемом, как поднимается черная вода, если проломить лед.

Эва умела читать мертвые вещи. Она думала, что знает, чего ждать.

Она ждала страницу. Так это всегда у нее и выглядело — там, под закрытыми веками, в той части себя, у которой не было названия: чужое прошлое разворачивалось перед ней чьим-то торопливым личным дневником, неровными карандашными линиями, набросанными в спешке, залитыми прозрачной акварелью настроения. У одних эти страницы были аккуратными до скуки. У других — смазанными, в пятнах. Эва ждала найти страницу самоубийцы: она читала такую однажды и помнила, какая она. Усталая. Тихая. Линии ложатся медленно, акварель разведена почти до воды, и поверх всего — то страшное, обманчиво похожее на покой разглаживание, с которым человек, решившийся уйти, в последний раз закрывает за собой все двери. Эва приготовилась к покою. Она почти хотела его — для этой чужой мертвой девочки, для себя, для тишины в четыре часа ночи.

Страница, которую она открыла, была размокшей насквозь.

Акварель не легла — ее вылили. Она растеклась без берегов, черно-багровая, заходя одна на другую, и сквозь нее не проступало ничего, что можно было бы назвать мыслью, потому что для мысли там уже не осталось сухого места. А линии — линии были не нарисованы. Они были продраны. Карандаш давили в бумагу так, что грифель пробивал лист, рвал его, шел дальше по столу, по дереву, по камню, и каждый такой разрыв был не штрихом, а криком, у которого отняли голос. Эва смотрела на эту страницу всем тем в себе, чем смотрят на такое, и понимала с холодной, окончательной ясностью: здесь не было ни усталости, ни тишины, ни покоя. Здесь не закрывали двери. Здесь искали хоть одну открытую — и не находили.

Ужас.

Он был огромен. Эва сняла его краешек с двери сквозь перчатку и решила, что знает его размер, — она ошиблась так, как ошибается тот, кто видел волну с берега и шагнул в нее. Это был не страх перед кем-то. В комнате не было никого — Эва чувствовала это так же твердо, как чувствовала собственные колени на холодном полу: ни чужой воли, ни второго дыхания, ни той кислой, узнаваемой ноты насильника, которая остается в воздухе, как след сапога. Никто не входил. Никто не заносил руку. Ужас Вивиан Астье был обращен не наружу, а внутрь — на что-то, что делалось с ней самой, в ней самой, чему она не могла помешать и от чего нельзя было отгородиться телом, потому что это и было ее тело. Девочку, которой всегда хватало одного верного шага в сторону, заперли наедине с собственным нутром — и нутро ее предавало, медленно, аккуратно, по инструкции, а она тянулась во все стороны разом и натывалась на стены. Эва чувствовала это тянущееся движение так ясно, будто оно было ее собственным: рука в темноте, ищущая ручку двери, которая всегда, всю жизнь была под пальцами, — и пустая стена там, где дверь. И еще стена. И еще. Со всех сторон, до самого конца, — только стены.

А под ужасом, глубже, было то, чего Эве касаться было нельзя.

Она поняла это за миг до того, как коснулась. След был слишком свежим. Он еще не остыл, не осел, не превратился в осадок, который можно снимать слой за слоем без вреда; он

был сырым, как разрытая рана, и под верхним пластом — под акварелью, под продранными линиями — лежала сама Вивиан. Не память о ней. Она. То последнее, тончайшее, что было ею в ту секунду, когда стены сомкнулись окончательно, — и оно все еще было теплым, все еще почти было кем-то, и оно потянуло Эву к себе с той ленивой, бездонной силой, с какой высота тянет шагнуть с края. Один слой глубже — и она будет там, где была Вивиан. Не прочтает — окажется. Эва почувствовала, как кренится туда, как граница между «здесь я» и «здесь не я», которой у нее и так не было без перчатки, истончается до ничего, — и где-то на самом дне этого крена, уже почти за краем, услышала не страх, а интерес. Свой собственный. Холодный, любопытный, страшный интерес — а что там, дальше? А каково это — досмотреть?

Этот интерес и спас ее. Он был так не к месту, так чудовищно не похож на ужас вокруг, что Эва на нем очнулась — как очнулся бы человек, услышавший посреди похорон собственный смех. И, очнувшись, рванула руку прочь.

Связь оборвалась не сразу. Она тянулась за ладонью, как тянется размокшая бумага, не желая отпускать. Эва отдирала себя от пола, от Вивиан, от черной воды по сантиметру, и в тот миг, когда отпустило, пришло резкое опустошение.

Откат настиг ее уже не там, а здесь, в холодной комнате, и он был как гвоздь, медленно вколоченный в глаз изнутри.

Эва согнулась пополам над мрамором. Желтый свет фонаря, который она все еще сжимала в левой, обтянутой кожей руке, поплыл, размазался, распался на дрожащие нити. Желудок свело. Во рту встал вкус меди и озона — вкус сломанной реальности, прикушенной слишком близко. Сердце колотилось в ушах так, будто пыталось выбить ей виски изнутри, и каждый удар отдавался в глазнице новой волной тошнотворной боли. Она стояла на четвереньках над мертвой девочкой, голая ладонь подрагивала в воздухе, и несколько долгих секунд единственным, что она могла, было не закричать.

Это была ее плата за минуту. Эва читала вещи годами и думала, что знает цену; цена, которую она знала, была усталостью и головной болью к утру. Этой она не знала. Этой ее никто не предупреждал — да и кто бы стал предупреждать стипендиатку, чье дело графа «фон» и три монеты за лист.

И все же хуже боли было другое.

Теперь в Эве жил кусок Вивиан Астье. Чужой ужас, чужие стены, чужая рука, ищущая дверь, — все это осело в ней, как оседает чужое горе в свидетеле, только глубже, потому что Эва не видела его со стороны, а пережила изнутри, своими нервами. Она не знала эту девочку. Не сказала ей при жизни ни слова — куда стипендиатке у сквозняка до звезды «Золотого сечения». А теперь знала ее так, как не знал, должно быть, никто на этом острове: знала, как Вивиан Астье умирала, знала с той непрошеной, невыносимой близостью, после которой два человека связаны навсегда, хочет того хоть один из них или нет. Эва выпрямилась — медленно, держась за край стола обтянутой кожей рукой, — и поняла, что больше не сможет смотреть на это спокойное, обращенное к потолку лицо как на тело из описи. Это было лицо, чей последний крик она только что носила в собственной груди.

«Вот так это и работает, — подумала она, и мысль была чужой, холодной, очень взрослой. — Вот за что на самом деле платят. Не за графу «фон». За то, что ты больше никогда не будешь одна в собственной голове».

Боль медленно отступала, отливала, оставляя за собой ясность — ту резкую, промытую ясность, что приходит после рвоты. И в этой ясности все, что Эва узнала за минуту, сложилось в одно короткое, простое и совершенно невозможное слово.

Убийство.

Не самоубийство. Вивиан Астье не хотела умирать — Эва знала это теперь не как догадку, а как факт, вписанный ей под кожу: ни одна клетка в этой девочке не закрывала за собой двери, все они до последней рвались наружу. Ее убили. Здесь, в этой комнате, не сдвинув

ни одной вещи, не пролив ни капли. И — вот где невозможность смыкалась сама на себе, как мертвая петля, — ее убили в комнате, запертой изнутри. Печать, которую не разомкнуть снаружи. Контур, целый, замкнутый, мертвый. Ни одной разорванной линии. Никто не входил. Никто не выходил. И все же кто-то отнял у девочки, видевшей все свои спасения, последнее из них — и ушел, не открыв двери.

Эва подняла голову и посмотрела на разломанный косяк, на выворотный язык замка, на тонкую, целую вязь сгил, которую они с Госсом так и не смогли разомкнуть, а только сломали вместе с дубом. И впервые за эту ночь ей стало по-настоящему, до холода в животе, страшно — не за Вивиан. За себя.

Потому что она была единственной во всем Сент-Освальде, кто это знал. Госс ничего не почувствовал — для него барышня заперлась и наложила на себя руки, и завтра он будет рассказывать это на кухне, и ему поверят, потому что в это удобно верить. Охрана не почувствует. Ректорат — Эва еще не знала о Ректорате ничего, кроме того, что он спускает ее работу в опись по три монеты за лист, но уже понимала про любую власть одно: власть не любит невозможного. Невозможное надо объяснить, а необъяснимое — закрыть. Самоубийство объясняло все. Самоубийство было аккуратным, как эта комната. Его впишут в графу, как Эва вписывала портсигары, и закроют ячейку.

А след, единственное доказательство, какое было, — след к утру выветрится. Сырая рана осядет, черная вода уйдет под лед, и не останется ничего, кроме чувства в груди у стипендиатки, которая не может доказать чувство. Кому она это скажет? И, главное, — Эва подумала об этом так спокойно и так быстро, что сама удивилась, — что сделают с человеком, который придет и скажет: барышню Астье, видевшую все варианты будущего, убили в комнате, запертой изнутри, способом, которого не бывает?

С таким человеком сделают то, что уже однажды сработало.

Найдут утром. В аккуратной комнате. За дверью, затянутой мертвой петлей.

Где-то в глубине коридора, очень далеко, родился звук. Шаги — несколько пар, тяжелых, уверенных, не Госсовых: те шаркали, эти печатали камень. И голоса, еще неразборчивые. Караул шел.

Эва опустила взгляд на свою голую правую руку — она все еще дрожала — и принялась натягивать перчатку.

Палец за пальцем, в обратном порядке. Кожа входила в кожу, и с каждым закрытым сантиметром мир чуть отступал, граница нарастала, Эва снова становилась только собой — собой, и больше никем, и это было почти облегчение, если бы не то, что осталось внутри навсегда. Она оглядела пол: не сдвинула ли чего, не оставила ли след колен на пыли, не задела ли подол платья. Не задела. Она поднялась на ноги, отступила к порогу — туда, где должна была все это время стоять послушная стипендиатка с чужим фонарем, ничего не тронувшая, ничего не понимавшая. Расправила лицо. Это она умела лучше всего на свете — лучше, чем читать вещи, лучше, чем жить. Маленькой ее научили, что лицо — это дверь, и что выживает тот, кто умеет затворить ее прежде, чем в нее заглянут. Она затворила.

Шаги были уже близко. В дверном проеме коридора качнулся свет других фонарей.

И Эва, в последнюю секунду перед тем, как на нее посмотрят чужие глаза, приняла решение — то самое, первое, которое потом, много позже, она назовет началом всего, хотя в ту ночь оно показалось ей просто здравым смыслом, простым правилом выжившего, усвоенным раньше имени.

Девочка, которая скажет, что это было убийство, станет следующей девочкой в аккуратной комнате.

Значит, эта девочка ничего не видела.

Эва подняла на входящих усталое, испуганное, совершенно пустое лицо стипендиатки, которая всю ночь перебирала чужой прах, а под утро наткнулась на чью-то печальную смерть, — и приготовилась лгать всем, что у нее было.

Глава 3. Иллюзия порядка

Первым делом они принялись за воздух.

Эва ждала чего угодно — что бросятся к телу, что станут искать, спрашивать, осматривать сломанную дверь, целую печать, невозможный замок, — чего угодно, кроме этого. Но люди Ректората, войдя, не посмотрели на Вивиан Астье вовсе. Двое в серых, наглухо застегнутых сюртуках прошли мимо тела, как мимо опрокинутого стула, развернули у порога что-то вроде курильницы на треноге, и от нее по комнате пополз тонкий, почти невидимый дым — без запаха, если не считать того, что он съедал озон.

И след начал умирать.

Эва почувствовала это так ясно, что у нее подкосились колени, — она устояла только потому, что давно научилась не падать на людях. Тот сырой, стоявший дыбом воздух, та черная вода под несуществующим льдом, тот огромный, аккуратно сложенный ужас, который она сняла с пола голой ладонью и который теперь жил в ней, — здесь, в комнате, его методично разглаживали. Дым шел по углам, по стенам, по тому месту между столом и шкафом, где смерть прошла последней, и след истончался под ним, рвался, выплывал, как акварель под струей воды, пущенной нарочно, чтобы смыть. Эва стояла у разломанного косяка и чувствовала, как из мира вычищают единственное доказательство того, что Вивиан Астье не хотела умирать, — вычищают спокойно, привычно, как вытирают со стола.

Через четверть часа в комнате не осталось ничего. Чистый воздух. Чистый камень. Идеальный порядок, в который теперь входил и сам факт смерти, аккуратно вписанный, выровненный по краю, как стопка бумаг на столе. И единственным местом во всем Сент-Освальде, где еще хранился настоящий, неподделанный последний крик Вивиан, осталась грудь стоящей у двери стипендиатки, которую никто не догадался вычистить, потому что никому не пришло в голову, что в ней что-то есть.

Эва поняла тогда — еще не до конца, но уже телом, тем холодком, что прошел по хребту, — что отныне она и есть улика. Ходячая, дышащая, незаметная улика, о которой не знает никто, кроме нее самой. И что это, наверное, самое опасное, чем она когда-либо владела.

— Вы ее нашли.

Голос был ровным, без вопросительной интонации, хотя по форме это был вопрос. Эва обернулась — медленно, всегда медленно — и увидела женщину, которая, должно быть, вошла, пока она смотрела, как умирает след.

Проктор от Ректората. Эва не знала ее имени, но знала породу: серое глухое платье без единого украшения, гладко убранные волосы, лицо, на котором не было написано ровно ничего, кроме готовности занести услышанное в нужную графу. Караульные, давеча печатавшие камень так уверенно, при ней как-то сжались, потеряли в росте; даже Госс, мявшийся в коридоре с фонарем, постарался стать еще незаметнее. Эва видела таких. Эва, можно сказать, всю жизнь только таких и видела — людей, которые приходят, когда что-то случилось, и чья работа не разобраться, а закрыть.

— Я была на ночном обходе, — сказала Эва. Голос вышел ровно тем, каким ему следовало быть: усталым, чуть испуганным, послушным. — Контур на двери оказался мертвым. Заперт изнутри. Я позвала смотрителя, мы взломали дверь. Внутри было вот так.

Каждое слово — правда. Эва давно усвоила, что лгать лучше всего правдой, тщательно выбрав, какую именно сказать. Она не сказала про голую ладонь. Не сказала про черную воду. Не сказала, что знает, как пахнет решимость самоубийцы, и что здесь ею не пахло. Она дала проктору ровно ту правду, которая складывалась в удобную картину, — и смотрела, как женщина ее принимает.

— Заперта изнутри, — повторила проктор. И впервые за все время посмотрела на тело — коротко, оценивающе, без тени удивления. — Мертвая петля. Сама.

Вот оно. Эва почувствовала это, как чувствуют ступеньку, которой не оказалось под ногой.

В любом честном разбирательстве мертвая петля должна была поднять весь Ректорат на уши. Печать, запертая изнутри, необратимая, неразрешимая снаружи, — означала, что в комнату к Вивиан Астье никто не мог войти и из нее никто не мог выйти. Для Эвы это было сердцем невозможного: как убить ту, к кому нельзя войти? Но проктор смотрела на ту же самую целую печать и видела прямо противоположное. Заперта изнутри — значит, заперлась сама. Никто не входил — значит, она была одна. Была одна — значит, сделала это сама. Та же самая дверь, тот же самый невозможный замок: для Эвы — доказательство убийства, для машины — доказательство самоубийства. Достаточно заранее решить, во что веришь, и любой факт послушно ляжет в нужную сторону.

И они решили заранее. Эва видела это по тому, как у проктора не дрогнуло лицо. Невозможное не вызвало у нее ни вопроса, ни тревоги — только легкое, почти скупающее узнавание, с каким встречают не загадку, а знакомую неприятность. Будто девочек, видевших все свои спасения и умерших в наглухо запертых комнатах, в Сент-Освальде находили не впервые. Будто на это была графа.

— Вы устали, — сказала проктор, и это снова не было вопросом. Она достала из складок платья плоский серебряный диск — переговорный артефакт, тусклый, в трещинках от частого использования, — прижала к нему два пальца и отошла к окну. Эва не слышала слов; она видела только, как женщина с минуту стоит к ней спиной, как двигается ее затылок, как она кивает чему-то — или кому-то, — кто говорит с другого конца острова, из теплых башен, куда стипендиатам хода нет. Потом проктор спрятала диск и вернулась, и в лице ее опять не было ничего, кроме готовности поскорее с этим разобраться.

— Трагический случай, — произнесла она спокойно, обращаясь не столько к Эве, сколько к комнате, к караульным, к утру, которое уже сочилось серым в окно. — Переутомление. Барышня Астье несла большую нагрузку. Случается. — Пауза. — Семье будет тяжело. Не нужно усугублять разговорами.

Эва опустила глаза, как опускают глаза послушные. Внутри у нее было очень тихо и очень ясно.

Вот и все. С минуты, как взломали дверь, не прошло и трех часов, а дело уже было закрыто — закрыто быстрее, чем любое расследование успело бы хоть начаться, закрыто прежде, чем кто-нибудь задал вопрос «как». «Переутомление» вписали в графу, выровняли по краю и придвинули следующий лоток. И слово, которым проктор прижала все это к месту, — «не нужно усугублять разговорами» — было мягким, заботливым, обращенным будто бы к чужому горю, и под этой мягкостью лежал чистый, отполированный металл. Это было не предупреждение. Предупреждают тех, кого считают равными. Это было то, что говорят инструменту, прежде чем убрать его в ящик: тихо лежи.

Эву отпустили. Сказали идти отдыхать, сказали, что ее показания записаны, сказали — мимоходом, без нажима, — что в крыло ей больше заходить не нужно, ночные обходы временно отменены. Она поняла: ее убрали оттуда, где она могла что-то еще увидеть. Аккуратно. По инструкции. Как все здесь.

Она шла прочь по пробуждающемуся Университету, и это было самое страшное за всю ночь — не тело, не след, не машина. А то, что мир шел дальше.

Серый рассвет полз по мраморным галереям. Где-то ударил подъемный сигнал — тот самый принудительный магический звон, от которого у Эвы каждое утро ныли зубы, — и замок начал наполняться: шаги, голоса, скрип дверей, дальний звяк посуды из обеденного зала, куда уже несли завтрак для тех, кто спал в постелях с пологам. К полудню эти люди сядут за столы у

каминов и будут передавать друг другу масло и слух о бедной Астье, не выдержавшей нагрузки, и слух будет ходить по залу легко и охотно, потому что он удобный, потому что он позволяет каждому доесть завтрак с чистой совестью. Ложь была уже жива. Ложь шла по коридорам Сент-Освальда на своих ногах, сытая и уверенная, пока правда сидела взаперти в одной измученной голове и не могла даже доказать, что она правда.

Эва добралась до своей комнаты в самом низу жилого яруса — у северной стены, где из всех щелей тянуло холодом, потому что стипендиаток и здесь селили там, где гуляют сквозняки, — и толкнула дверь, не чувствуя уже ни рук, ни ног, ни головы, в которой медленно догорал откат.

Надин не спала.

Она сидела на своей койке, поджав ноги, закутавшись в одеяло поверх ночной рубашки, и при виде Эвы вскинулась так, что одеяло сползло.

— Господи, ну наконец-то, — выпалила она тихим, осипшим от долгого молчания голосом. — Я думала, я уж не знаю, что думала. Ты должна была вернуться к полуночи. Я ждала, ждала, потом начала бояться. — Она осеклась, всмотрелась в Эвино лицо — Надин всегда всматривалась, словно извиняясь за то, что смотрит, — и испуганно понизила голос: — Что случилось? На тебе лица нет.

Эва стояла на пороге и смотрела на эту хрупкую, светловолосую, вечно будто извиняющуюся за свое присутствие девочку — стипендиатку, как она сама, такую же чужую в этих стенах, такую же лишнюю, — и чувствовала, как в ней, под коркой усталости, под чужим ужасом, под холодным металлом ректоратского «тихо лежи», шевельнулось что-то живое. Маленькое, теплое и совершенно беспомощное. Надин ждала ее до рассвета. Кто-то на этом острове, оказывается, не ложился спать, потому что Эва не вернулась к полуночи. Эва так давно ни для кого ничего не значила, что почти забыла, как это бывает, — и теперь это знание ударило ее мягко, исподтишка, больнее многого жесткого.

Она хотела рассказать. На одно безумное мгновение ей захотелось прийти, сесть рядом, уткнуться лбом в чужое плечо и вывалить все: и тело, и след, и черную воду, и проктора с серебряным диском, и то, что Вивиан Астье убили, а это назовут переутомлением, а она, Эва, единственная знает, и ей от этого знания нечем дышать. Хоть кому-нибудь. Хоть один раз не быть одной в собственной голове.

И именно потому, что захотелось так сильно, она этого не сделала.

Потому что рассказать Надин значило надеть ей на шею то же самое, что висело теперь на Эве. Девочка, которая знает, что это убийство, становится следующей девочкой в аккуратной комнате, — а Надин не выдержит и одной ночи такого знания, это было видно по тому, как у нее подрагивали пальцы на краю одеяла, как она и без всякого убийства уже была натянута до звона. Эва вгляделась в нее своим — даже сейчас, даже сквозь откат — никогда не отключающимся чутьем и увидела под беспокойством о ней, об Эве, еще и собственный страх Надин: тонкий, привычный, фоновый страх человека, которого система давит ровно и неотступно. На столе у Надин лежали стопкой исписанные листы и три раскрытые книги; завтра — или уже сегодня — у нее была какая-то проверка, к которой она готовилась ночами, и не успевала, и боялась не успеть, и от этого готовилась еще отчаяннее, по кругу, без сна. Эва знала этот круг. Эва видела, чем он кончается, — она пока не знала, что увидит это слишком близко.

— Ничего не случилось, — сказала Эва. Голос вышел почти мягким — настолько, насколько она еще могла. — Долгая смена. В крыле кое-что нашли, был переполох. Со мной все хорошо. Правда.

Надин смотрела на нее — недоверчиво, тревожно, — но не стала допытываться. Она вообще никогда не допытывалась; она была из тех, кто скорее извинится за беспокойство, чем настоит на ответе. Вместо этого она сделала единственное, что умела делать в ответ на чужую

беду: сползла с койки, налила из остывшего чайника в щербатую кружку, сунула Эве в руки и снова закуталась в одеяло, поджав озябшие ноги.

— Я слышала, утром говорили, — сказала она тихо, осторожно, будто пробуя лед. — В умывальной. Что барышня Астье что ее нашли. Что она сама. — Надин передернула плечами. — Так странно. Она же была ну, она. Из тех, у кого все всегда хорошо. Говорят, переутомилась. — Она подняла на Эву виноватые глаза. — Жутко, да? Если уж такие не выдерживают.

Эва держала теплую кружку обеими руками — обтянутыми перчатками, которые она так и не сняла, — и молчала.

Ложь добралась и сюда. До самой нижней комнаты у северной стены, до девочки, которая всю ночь не спала из-за нее, — раньше, чем Эва успела дойти сама. Сытая, удобная, ходячая ложь уже сидела на койке Надин и говорила ее голосом, и Надин повторяла ее доверчиво, как повторяют то, во что веришь, потому что в это легче поверить. «Если уж такие не выдерживают». Эва могла одним словом разбить это. Одним словом — и обрушить на тонкие плечи напротив весь тот холод, что лежал теперь на ней.

Она сделала глоток остывшего чая и сказала:

— Жутко.

Надин кивнула, утешенная согласием, и потянулась к лампе. Свет погас. За окном серело утро, билось о скалы невидимое море, наполнялся голосами замок, разносивший по своим мраморным жилам аккуратную ложь о девочке, которая не выдержала.

Эва легла не раздеваясь, поверх одеяла, с кружкой в руках, и закрыла глаза.

В темноте под веками — там, где обычно никто ее не трогал, — ее ждали чужие продранные линии, черная вода и рука, ищущая дверь, которой не было. Теперь это было ее. Только ее. Никто на острове не знал, никто не поверил бы, а тот, кому можно было бы рассказать, спал в полуметре от нее и не должен был узнать никогда.

Она была одна. Совсем. Против машины, которая закрывала ячейки быстрее, чем успеваешь произнести имя мертвого, и против кого-то — Эва пока не знала кого, — кто стоял над машиной и шевелил губами в серебряный диск из теплых башен, куда ей не было хода.

И впервые с тех пор, как черный экспресс выплюнул ее на этот остров, Эва Каррен поняла, что страх остаться никем — тот самый, что гнал ее сюда, что грыз ее каждую ночь, — был детским страхом. Куда хуже было другое, новое, и оно укладывалось ей под кожу рядом с чужим ужасом, обживаясь там надолго.

Стать кем-то на этом острове означало стать тем, кого однажды найдут утром в аккуратной комнате.

А она уже стала.

Глава 4. Золотое сечение

Эва пришла прощаться с Вивиан Астье, неся ее в себе.

В этом и была вся непристойность похорон. Весь Сент-Освальд собрался в Атриуме, чтобы оплакать девочку, которая не выдержала нагрузки, — а единственный человек во всем зале, кто действительно нес в себе ее последнюю минуту, стоял у дальней стены, у продуваемых дверей, среди других стипендиатов, и не имел права сказать об этом ни слова. Они хоронили выдумку. Аккуратную, выровненную по краю выдумку о переутомлении. Настоящая Вивиан — та, что рвалась наружу всеми клетками и натывалась на стены, — лежала не в задрапированном черном гробу под колоннами, а под ребрами у Эвы, и оттуда было слышно, как фальшива каждая нота этой скорби.

Хуже всего было то, что Эва не могла даже горевать по-своему. Она не знала Вивиан живой. Та печаль, что поднималась в ней при взгляде на гроб, была не ее печалью — это был чужой ужас, выцветший за три дня до тупой, ноющей тяжести, и Эва оплакивала незнакомку чувствами самой незнакомки. Эмпатия не давала даже горю остаться собственным. Это, подумала Эва, и есть цена, о которой не пишут в графе «фон»: ты не просто чувствуешь чужое — ты лишаешься права на свое.

Атриум был устроен так, чтобы и в скорби каждый знал свое место. Это Эва усвоила за два месяца лучше любой лекции: в Сент-Освальде статус измеряется теплом. У дальней стены, где сходились сквозняки из всех галерей разом, стояли стипендиаты — тонкая, зябнущая полоса чужаков в форме, перешитой из чужой. Ближе к центру — буржуазия магии, целители и инженеры артефактов в добротном сукне. А у самого катафалка, в широком полукруге каминного света, стояла Кровь: потомственные, в черном бархате и фамильном жемчуге, и тепло больших очагов ложилось на их лица, как ложится свет на тех, кто привык, что мир освещен в их сторону. Даже мертвую Вивиан они окружали ровно настолько, насколько ей полагалось по рождению, — не ближе.

Кто-то говорил с возвышения — Эва не вслушивалась. Голос был высокий, сухой, отмеренный, спускался сверху, как спускалось все в этом замке, и складывал из мертвой девочки то же, что проктор сложила в ту ночь: трагический случай, светлая память, большая утрата, нагрузка, которую не каждый. Скорбью здесь распоряжались так же, как вердиктом, — выдавали порциями, по чину. Эва стояла, опустил глаза, и думала, что присутствует на второй стерилизации той же смерти: в ту ночь вычистили воздух, теперь вычищали память.

И еще она думала — мельком, на самом краю, тем чутьем, что не отключалось даже здесь, — о странном. Зал был полон людей, а люди на похоронах всегда оставляют после себя плотный осадок: горе, неловкость, скуку, тайное облегчение живых. Этот осадок должен был висеть под куполом, оседать на колоннах, копиться в углах. Но он не копился. Эва чувствовала, как общая, разлитая по Атриуму скорбь не задерживается в воздухе, а будто стекает — медленно, под каким-то неправильным, косым уклоном — вниз, в холодный мраморный пол, оставляя над головами зала странную, вылизанную чистоту. «Хорошая вентиляция в верхних залах, — подумала Эва рассеянно. — Не то, что у нас в крыле». И тут же забыла об этом, потому что рядом возник Теодор.

— Я так и думал, что ты придешь, — сказал он тихо, вставая плечом к плечу. — Не надо было. Тебе и без того досталось.

Теодор Эш умел появляться так, что чутье не вздрагивало. Высокий, спокойный, с тем ровным, успокаивающим лицом, какое бывает у людей, никогда всерьез не боявшихся за свою жизнь, — он был из аристократии уважаемой, хоть и не высшей, и носил это так же легко, как носил безупречно сидящее черное сукно. Они с Эвой делили библиотечные дежурства весь октябрь и ноябрь; он приносил ей кофе, когда она засыпала над описями, добывал ей доступ

к закрытым полкам, к которым стипендиатку не подпустили бы и на выстрел. Эва не знала, как это называется. Знала только, что рядом с ним становилось теплее — не каминным теплом аристократов, а тем простым человеческим теплом, которого ей в этих стенах не доставалось почти никогда.

— Все пришли, — сказала она. — Странно было бы не прийти.

— Ты ее даже не знала. — Теодор смотрел на нее мягко, внимательно, с заботой, в которой Эва, прислушавшись, уловила тончайшую, едва различимую ноту чего-то еще. — Я слышал, это тебя отправили туда ночью. Что это ты ее нашла. — Он чуть понизил голос. — Тебе не нужно держать это в себе, Эва. Хочешь, я поговорю с распорядителем, тебя освободят от занятий на пару дней. Тебе нужно прийти в себя, а не геройствовать. Позволь мне об этом позаботиться.

Это было сказано тепло. По-настоящему тепло; Эва чувствовала, что он не лжет, что ему правда не все равно. И все же где-то под этой теплотой лежало, тонкое, как волос, допущение: что Эва — хрупкая, что ей нужно «прийти в себя», что есть он, который лучше знает, что ей нужно, и который все устроит, если она будет умницей и позволит. Он видел перед собой испуганную девочку, которую надо уберечь. Он не видел — и не мог видеть — той, кто стоит в этом зале единственной хранительницей чужого убийства и держит его, не дрогнув, третий день. Эва не обиделась. Обижаться было не на что: он предлагал ей именно то, чего она когда-то хотела больше всего на свете, — теплое место, где о тебе позаботятся. Она просто отметила — как отмечала все, — что у этого теплого места есть стены.

— Спасибо, — сказала она. — Я в порядке.

— Ты всегда «в порядке». — Он улыбнулся, и улыбка вышла грустная.

Чуть в стороне, у самой кромки стипендиатской полосы, кто-то смотрел на них в упор.

Эва поймала этот взгляд боковым зрением и узнала Ирис Танне раньше, чем повернула голову. Ирис была такой же стипендиаткой, как она, — с тех же низов, из того же ниоткуда, — но если Эва носила свое происхождение, как колючую броню, нарочно, вызовом, то Ирис из кожи вон лезла, чтобы его стереть. Она тратила, по слухам, по три часа в день, выглаживая себя под аристократию: безупречная укладка, перешитое так искусно, что почти сходило за бархат, осанка, отрепетированная перед зеркалом. Сейчас она стояла прямая, как свеча, и провожала глазами то Теодора, то Эву, то четверку у катафалка, складывая в уме какую-то свою, ей одной видимую таблицу — кто с кем, кто рядом с властью, кто поднялся, кто упал.

— А тебе везет, Каррен, — проговорила Ирис, подходя, негромко и сладко, так, чтобы слышала только Эва. Голос у нее был как мед с тонкой кислотой на дне. — Это ведь надо так удачно оказаться в нужном крыле в нужную ночь. Теперь о тебе весь Университет говорит. Не каждой так подворачивается случай стать интересной. — Она улыбнулась светло, безупречно, ненавидяще. — Прими соболезнования. Тебе, должно быть, тяжелее всех.

И отошла прежде, чем Эва успела ответить, — оставив после себя укол и ровный, голодный шлейф зависти, такой плотный, что Эва ощутила его даже сквозь перчатки. Зависть Ирис была старше Сент-Освальда, как и Эвина привычка замечать; они выросли из одного корня — из страха остаться никем, — только дали разные побеги. Эва спрятала свой страх под бритым виском и пирсингом. Ирис свой — выглаживала по три часа в день. Эва смотрела ей вслед и понимала с неприятной ясностью, что нажила врага, ничего для этого не сделав, — просто оказавшись на секунду интереснее.

Потом она перевела взгляд к катафалку, к каминному полукругу, — и впервые за все два месяца увидела их вблизи. Всех четверых сразу.

«Золотое сечение». То, что осталось от пятерки после того, как пятой не стало.

Эва знала про них то же, что знал всякий за столом у сквозняка: что их магия не из тех, что сдвигает каплю воды месяцами тренировок, а из тех, что ломает мир по живому; что им позволено все; что к ним не подходят без приглашения и о них не спрашивают вслух. Имена их

были известны, как известны имена на фронтонах. Но видеть их — стоящих рядом, четырех, в черном, на расстоянии двадцати шагов — было совсем не то, что слышать о них. Эва смотрела и, не желая того, читала: чутье включилось само, как включается всегда, и сняло с каждого тонкий верхний слой, и каждый оказался отдельной, ни на что не похожей погодой.

Девушка в безупречном жемчуге — Селина, та самая фарфоровая Ваттен, о которой говорили, что у нее манеры лучше, чем у иной королевы, — стояла прямее всех и горевала правильнее всех: ровно столько скорби на лице, сколько положено, ни капель больше. Но под этим фарфором Эва уловила что-то тонкое и тревожное — будто гладкую поверхность изнутри что-то скребло, без усталости, по одному и тому же месту. Эва скользнула взглядом ниже и заметила, как пальцы Селины, сложенные в безупречном жесте скорби, едва-едва, на грани видимого, дрожат, и как рукав чуть сполз с запястья, на котором — Эва не была уверена, расстояние было велико, — кожа выглядела расчесанной до красноты. Что это было — горе, вина, или просто так устроена сама Селина, — Эва не могла сказать. Она отметила и пошла дальше.

Рядом стоял юноша красоты почти оскорбительной — той правильной, симметричной, легкой красоты, что располагает к себе раньше, чем человек откроет рот. Феликс Дорн. Он единственный из четверых не казался застывшим: переступал, обводил зал быстрым, живым, любопытным взглядом, и на лице у него скорбь сменялась чем-то почти веселым и обратно, слишком подвижно для похорон. Но самое неприятное было не это. Эва попыталась прочесть его — и не смогла. Там, где у каждого человека есть хоть какая-то погода, у Феликса было то одно, то другое, то третье, и ни в одном Эва не была уверена. Будто он показывал ей то, что, как ему казалось, она хочет увидеть. Будто, скользнув по нему взглядом, она уже не могла поручиться, что видела его, а не отражение собственного взгляда. От этого по спине пробежал тонкий холодок: с Феликсом Дорном, поняла Эва, никогда нельзя будет знать наверняка, реально ли то, что перед глазами.

Третий держался чуть позади — бледный до синевы юноша с тенями под глазами и с чем-то нездоровым в самих кончиках пальцев, которые он прятал в рукавах, словно стыдясь. Нэйл Вест. Он смотрел на гроб не так, как остальные. В нем не было ни правильной скорби Селины, ни беспокойной живости Феликса — в нем, на первый взгляд, не было вообще ничего, ровная, выстуженная пустота человека, разучившегося чувствовать. Но Эвино чутье, скользнув по этой пустоте, зацепилось — как цепляется ноготь за невидимую трещину. Под мертвой ровностью Нэйла Веста лежало горе. Старое, годами слежавшееся, не имеющее слов горе по чему-то, чего давно нет, — и оно было так не похоже на здешнюю казенную скорбь, что Эва, сама не зная почему, почувствовала к этому холодному, страшноватому юноше короткий, острый укол жалости. Она не поняла тогда, что это первая ниточка. Она просто отметила и хотела идти дальше.

Но идти дальше было некуда. Потому что четвертый смотрел на нее.

Эва не заметила, в какой момент он повернулся. Она дошла взглядом до него последним — и наткнулась на то, что он смотрит на нее уже давно, спокойно, в упор, как смотрят на вещь, которую заранее знали, что найдут в этом углу.

Кристиан Вейер.

Про него говорили меньше всех и тише всех, и Эва поняла почему, едва попыталась его прочесть. У всех была погода. У Селины — фарфор и скрежет под ним, у Феликса — мерцающий обман, у Нэйла — слежавшееся горе. У Кристиана Вейера не было ничего. Не пустота Нэйла, в которой под туманом все-таки что-то лежало, — а ровный, безупречный холод, который не отдавал наружу решительно ничего, как не отдает ничего стена, к которой прижимаешься в темноте, ожидая дверь. Эва тянулась к нему чутьем — и проваливалась в безветрие. Воздух вокруг него казался чуть смещенным, тени под его ногами падали словно бы не совсем туда, куда полагалось по свету каминов; от одного взгляда на это место в зале начинала кружиться голова. Он был единственным человеком в Атриуме, которого Эва не могла снять, —

и в ту же секунду, наткнувшись на это безветрие, она с ледяным ужасом поняла другое: пока она пыталась прочесть его, он читал ее.

Это было в его лице. Не любопытство — узнавание. Он знал, кто она. Знал, что это ее отправили в ту ночь в крыло. Знал — и вот от этого у Эвы по-настоящему перехватило дыхание, — что она там не просто нашла тело. Что она что-то почувствовала. Что под послушной, испуганной, незаметной стипендиаткой у сквозняка прячется кто-то, кто умеет снимать с мертвых вещей их последний крик. Его холодные глаза смотрели на нее ровно, без улыбки, и в них было написано: я тебя вижу. Не «вижу девочку у стены» — вижу тебя, настоящую, ту, которую ты прячешь от всех с тех пор, как у тебя появилось имя.

Взгляд держал ее на секунду дольше, чем держат чужой взгляд. На одну непозволительную, бесконечную секунду. А потом Кристиан Вейер чуть наклонил голову — едва заметно, как кланяются знакомому, которого узнали в толпе, — и отвернулся к катафалку, оставив Эву стоять с колотящимся сердцем у продуваемой стены.

Позже — много позже, когда она будет знать достаточно, чтобы пересобрать всю эту ночь заново, — Эва будет вспоминать этот взгляд и не сможет решить одного. Поймала ли она его, обернувшегося случайно. Или ей дали поймать.

А пока она знала только, что случилось худшее из возможного. Два месяца она строила всю свою жизнь на одном правиле, усвоенном раньше имени: будь незаметной, заметных быют первыми. Два месяца она занимала меньше места, чем есть, пряталась под челкой и мешковатым сукном, делала свою графу «фон» и не поднимала глаз. И вот в зале, где хоронили девочку, которую сделала заметной ее собственная исключительность, человек с холодом вместо погоды посмотрел на Эву и увидел ее насквозь.

Она перестала быть невидимой.

И где-то очень глубоко, под ужасом, под чужим горем, под здоровым голосом, который уже орал ей бежать, — там, в том самом месте, которого она боялась в себе больше всего, — что-то откликнулось на этот взгляд предательским, теплым, постыдным облегчением.

Кто-то наконец увидел.

Глава 5. Тупик и навязчивость

Контур на двери архива прочитал ее подпись и не ответил.

Эва прижимала ладонь к холодной бронзовой пластине у замка четвертый раз, и четвертый раз тонкая вязь сигил под ее пальцами оживала, пробегала по руке щекочущим током, на мгновение касалась чего-то в ней — той невидимой печати воли, которую в Сент-Освальде называли подписью и которая была у каждого мага своя, как голос, как почерк, — пробовала эту подпись на вкус и гасла. Не вспыхивала отказом. Не предупреждала. Просто пробовала и отворачивалась, как отворачивается лакей от того, кто пришел не с парадного входа. Контур читал ее подпись и не находил в ней ничего, что стоило бы впустить. Подпись стипендиатки открывала общие стеллажи и читальные залы — и захлопывалась перед всем, что хоть на ступеньку выше пыли под ногами.

Эва опустила руку. Сердце у нее колотилось ровно, дыхание держалось ровно — снаружи. Внутри поднималось то, чему она боялась дать имя.

Великая Библиотека жила вокруг нее своей огромной, безразличной жизнью. Стеллажи уходили вверх на десятки метров, теряясь в полумраке под куполами; по их склонам ползали на колесиках лестницы, сами собой переезжая от секции к секции; где-то наверху шелестели страницы, поскрипывало дерево, и весь этот ровный белый шум книг стоял в воздухе, как туман, в котором тонули голоса. Студенты говорили вполголоса, склонившись над столами, и Эва знала уже, что именно здесь и решаются все настоящие дела Сент-Освальда: в библиотеке тебя не подслушать, шум съедает слова. Сюда она и пришла — за тем единственным, что могло сдвинуть ее с мертвой точки.

За Вивиан Астье. Настоящей.

Логика была проста и оттого неотступна. Эва знала — не догадывалась, знала телом, — что Вивиан убили. Знала, что машина это покрыла, вычистив воздух и память за три часа. А значит, рассуждала Эва, у машины была причина: Вивиан что-то делала, что-то знала, что-то раскопала, за что ее и убрали. Найти это «что-то» — найти тропу к убийце. И начать надо было с самого простого: с того, кем Вивиан была, чем занималась, кого знала. С ее личного дела, ее работ, ее следа в бумагах. С архива.

Архив ее не пускал.

Она начала с каталога — час назад, с холодной деловитостью человека, который умеет искать. Нашла карточку: «Астье, Вивиан. Личное дело, академический формуляр, исследовательский журнал». А рядом, поперек, свежими чернилами, с датой трехдневной давности — той самой ночи: «Изъято. Доступ ограничен распоряжением Ректората». Эва смотрела на эту дату долго. Они забрали ее бумаги в ту же ночь, когда чистили воздух. Не через неделю, не после похорон — сразу. Девочка еще не остыла, а ее исследовательский журнал уже лежал где-то под печатью, недосягаемый. И это, как и мертвая петля, как и проктор с серебряным диском, было не пробелом, а ответом. Запечатанная дверь говорила то же, что запертая комната: здесь есть что прятать.

После каталога она попробовала библиотекаря. Сухонький старик за конторкой выслушал ее просьбу о доступе к закрытой секции — Эва придумала благовидный предлог, что-то про сверку описей, голос послушный, лицо безобидное, — и ответил вежливо, скучно и абсолютно непреклонно: для закрытой секции нужна подпись соответствующего разряда, у барышни такой подписи нет, всего доброго. Ни тени враждебности. Враждебность можно было бы зацепить, на нее можно было бы надавить, ее можно было бы обойти. Здесь не за что было зацепиться. Здесь была не стена, а отсутствие двери.

Тогда она попробовала боковой ход — узкую служебную лестницу, которой пользовались, чтобы возить тележки с книгами между ярусами. Дошла до площадки перед закрытой

секцией и наткнулась на контур поперек прохода: не дверь даже, а просто воздух, загустевший в незримую преграду, которую ее подпись опять-таки не размыкала. Эва стояла перед пустым проемом, в который не могла шагнуть, и впервые за этот час почувствовала, как к горлу подбирается то, старое.

Она попробовала последнее, что у нее было, — себя. Свой дар. Прижала ладонь к холодному воздуху преграды и потянулась чутьем, как тянулась к двери Вивиан в ту ночь, — снять с контура хоть что-нибудь, эмоциональный осадок того, кто его ставил, слабинку, лазейку, что угодно.

И не нашла ничего.

Вот что было хуже всего, поняла Эва, отдергивая руку. Ее дар был для людей. Он умел снимать чужую боль, чужой страх, чужое самодовольство с латунного портсигара — потому что все это оставляли после себя люди, а люди оставляют след. Машина следа не оставляла. Контуры, печати, изъятые дела, вежливые отказы, ограниченный доступ — у всего этого не было ни страха, ни вины, ни усталости, которые можно прочесть и обойти. Система не чувствовала ничего, потому что не была никем. Самое острое оружие Эвы, единственное, что у нее было, билось о нее, как птица о стекло, не оставляя на стекле даже отметины. Против человека Эва была сильна. Против машины — она была ровно тем, кем ее здесь и числили. Никем.

И тогда оно поднялось до конца.

Бессилие. Не досада, не злость — Эва умела с ними справляться. А то, древнее, до-именное, что жило в ней с тех пор, когда ее еще не звали Эвой, — животный, удушающий ужас существа, запертого в комнате, где есть дверь, но нет ключа, и есть кто-то, кто ключ держит, и от тебя не зависит ничего. Маленькая Эва научилась читать комнаты именно из этого ужаса — чтобы предсказать, угадать, подстроиться, успеть закрыть лицо. Но в том-то и был старый, неизбывный изъян ее дара, его насмешка: она научилась видеть руку прежде, чем та опустится, — и никогда, ни единого раза не научилась ее остановить. Можно было прочесть все. Понять все. И все равно стоять у запертой двери, маленькой и бессильной, пока с тобой делают то, что решили сделать. Понимание не было властью. Понимание было только умением точно знать, в какой момент тебя ударят.

Здесь, перед загустевшим воздухом служебной лестницы, у Эвы отняли даже это. Машине нечего было предсказывать. Машина просто не пускала — ровно, бесстрастно, без лица, в которое можно было бы заглянуть. Эва стояла, сжав в перчатках кулаки так, что ногти сквозь кожу впились в ладони, и несколько секунд ее всю колотило той беззвучной, внутренней дрожью, которую она научилась прятать раньше, чем говорить. Стены. Со всех сторон, до самого конца, только стены.

Точно так же, мелькнуло у нее, тянулась к двери и не находила ее Вивиан. И от этой мысли — что ее собственное бессилие и предсмертный ужас убитой девочки на вкус одно и то же — стало совсем нехорошо.

Она заставила себя дышать. Разжала кулаки. Привычка не падать на людях вытащила ее, как вытаскивала всегда. Эва отступила от преграды, спустилась обратно в общий зал и опустилась за крайний стол у стеллажей — отдышаться, собрать лицо, придумать, что дальше. Дальше не придумывалось. Все ходы упирались в подпись, которой у нее не было и не могло быть.

За соседним столом двое старшекурсников говорили вполголоса, и белый шум доносил до нее обрывки.

— говорят, из Министерства кого-то пришлют. Инспектора.

— Из-за Астье?

— Так положено. Когда такое — всегда суют нос. Под видом нового преподавателя, чтоб не пугать. — Шелест страницы. — Только наши-то им покажут ровно то, что захотят показать. Как всегда.

Эва отметила это краем сознания и отложила. Министерство, инспектор, чужие глаза извне — мир за стенами острова, который вдруг решил заглянуть. В другой день она бы задумалась, не союзник ли это, не лазейка ли. Сейчас у нее не было сил даже на надежду. Сейчас у нее был только тупик и колотящееся под ребрами бессилие, которое никак не желало улечься.

— Вы ищите не в том отделе.

Голос был негромкий, ровный, неторопливый — и Эва узнала его раньше, чем подняла глаза, потому что вместе с голосом на стол легла тень, упавшая не совсем туда, куда ей полагалось по свету, и воздух у края стола чуть качнулся, как качается отражение в потревоженной воде.

Кристиан Вейер стоял над ней.

Он возник так, как возникает он, — без шагов, без шороха, будто библиотека сама расступилась и поставила его здесь. Темное, безупречно сшитое сукно. Спокойные руки. И то самое безветрие вокруг, та ровная стена холода, в которую Эва провалилась чутьем еще на похоронах и в которую провалилась снова сейчас, помимо воли потянувшись прочесть его, — и снова не нашла ничего, кроме легкого головокружения и твердого, ледяного знания, что читают, наоборот, ее. Глаза у него были такие же холодные, как в Атриуме, и так же безошибочно видели ее насквозь — испуганную, загнанную в угол, час бьющуюся о стену, которую ему, должно быть, открывала одна мысль.

Он не угрожал. Он не спрашивал, что она здесь делает, — он и так знал, и не делал вида, будто не знает. Он не предлагал помощь — слишком грубо, слишком явно. Он просто сказал то, что сказал, и в этих пяти словах было все сразу: что он знает, что она ищет; что он знает, где это лежит; что отдел, в который она час безуспешно ломится, — действительно не тот; и что он, единственный во всем этом зале, может довести ее туда, куда система ее не пускает.

Эва смотрела на него снизу вверх, и бессилие, все еще дрожавшее в ней, вдруг нашло, наконец, во что упереться, — и в этом было предательское, постыдное облегчение, точно такое же, как в Атриуме. Перед ней стоял ключ от двери, у которой она простояла час маленькой и беспомощной. И этот ключ смотрел на нее так, будто заранее знал, что она потянется его взять.

Уходить надо было сейчас. Здравый голос, тот самый, орал ей это во всю мочь.

— А в каком — в том? — спросила Эва.

Глава 6. Танец на ножах

Кристиан Вейер не ответил. Он смотрел на нее так, будто вопрос был не про отдел, а про нее саму, и будто ответ он уже знал, а спрашивала она зря.

— Вы держите кулаки под столом, — сказал он наконец. Негромко, ровно, без всякого нажима, как замечают погоду. — С той минуты, как я подошел. — Он чуть помолчал, и в этой паузе было больше, чем в словах. — Так держат руки, когда привыкли, что бить начнут раньше, чем дослушают.

Эва не разжала кулаков. Это было бы признанием.

— Я пришла за бумагами Вивиан Астье, — сказала она. — Не за разбором моей осанки.

— Я знаю, за чем вы пришли. — Он обошел стол, неторопливо, и опустился на стул напротив — не придвигая его, не двигая ни одной вещи, так, что Эва не услышала ни скрипа. Вблизи безветрие вокруг него стало плотнее. Воздух у края стола едва заметно поплыл, как плывет он над раскаленными камнями, только здесь не было жара — был тонкий, выстуженный холод, от которого у Эвы чуть закружилась голова и пол под ногами на миг показался не там, где должен быть. — Вопрос в том, — продолжил он, — знаете ли это вы.

Это была ловушка в самой простой ее форме — фраза, которая ничего не утверждает, но заставляет тебя сомневаться в том, что секунду назад казалось твердым. Эва видела крюк. Эва видела его насквозь — расписала бы по шагам, назвала бы прием. И все равно почувствовала, как он вошел: коротким, неприятным уколом неуверенности, ровно туда, куда был нацелен.

«Понимание ничему не помогает, — подумала она, и мысль была холодной и ясной, как все, что она думала о других, и впервые — о себе. — Можно знать механику до последнего винтика. Можно видеть руку, которая тянет за нитку. И все равно чувствовать, как нитка натягивается. Как будто голова и нутро живут в разных странах и не выдают друг друга».

Она попробовала прочесть его.

Сделала это инстинктивно, как делала всегда, когда становилось страшно, — потянулась чутьем за край стола, к нему, снять хоть тонкий слой, найти под безупречным холодом слабинку, страх, нужду, хоть что-нибудь живое, на что можно опереться. И провалилась.

Не в пустоту Нэйла Веста — там, она помнила, под мертвой ровностью все-таки лежало горе. Здесь не было даже горя. Здесь была ровная, без единого шва стена, к которой она прижалась всем своим даром и не сняла ничего — ни ноты, ни кляксы, ни рваной линии. Машина в архиве не пускала ее, потому что была никем. Кристиан Вейер не пускал ее, потому что был кем-то, кто наглухо себя запер. И это было хуже, потому что у машины не было намерения, а у него — было, и она его не видела.

— Перестаньте, — сказал он.

Эва вздрогнула. Он не повысил голоса. Он чуть склонил голову набок, разглядывая ее с тем же ровным, холодным вниманием.

— Вы сейчас пытаетесь меня — он подобрал слово не потому, что искал, а потому что давал ей услышать, как он его подбирает, — снять. Прочесть. Так же, как вы прочли ту комнату. — Пауза. — Со мной это не работает. — Он чуть наклонился вперед, и холод придвинулся вместе с ним. — Это, — он повел рукой, обозначив воздух между ними, — единственное место в Сент-Освальде, где вам придется обходиться тем же, чем обходятся все прочие. Словами. И тем, что видно глазами. Любопытно, как вы без этого справитесь.

Вот теперь Эве стало по-настоящему холодно — не от его безветрия, а изнутри. Он знал. Не догадывался, не подозревал — знал, что она сделала в ту ночь, знал, что она такое. Он назвал ее дар вслух, спокойно, как называют общеизвестное, и тем самым отнял у нее последнее, что у нее было: тайну того, что она умеет. Перед всеми остальными она была никем — это было опасно, но это была ее броня. Перед ним она была кем-то — и это было опаснее во сто крат.

— Те бумаги изъяли в ту же ночь, — сказала Эва, цепляясь за дело, за единственную твердую вещь в этом плывущем разговоре. — По распоряжению Ректората. Значит, в них было что-то, чего не должно быть. Значит, ее убили из-за того, что в них.

Она сказала это и тут же поняла, что проговорилась. Она сказала «убили». При нем. Вслух. Слово, которое три дня держала запертым под ребрами, выскользнуло само — потому что под его взглядом ей вдруг стало невыносимо держать его одной, потому что он смотрел так, будто и без того все знает, и лгать ему было лишним усилием. Это был ее изъян, и она его за собой знала: под достаточным давлением из нее выходила правда, как воздух из проколотого.

Кристиан не торжествовал. Вот что было страшнее всего — он услышал «убили» и не вспыхнул интересом, не подался вперед, не поймал ее на слове. Он просто принял это, без выражения, как принимают то, что и так знали, и аккуратно отложил куда-то в себя, где Эва не могла этого достать. Человек, который ловит, выдает себя радостью поимки. Кристиан ничего не выдал. Он собирал ее по кускам — слово, кулаки, попытку прочесть его, проговорку — и складывал, и ни один мускул на его лице не двигался при этом, и от этой холодной, не знающей радости тщательности у Эвы по спине пробежал мороз.

— Вас задело не то, что вас не пустили, — сказал он вместо этого. Тихо. Возвращаясь к ней, всегда к ней, мимо дела, мимо Вивиан, мимо убийства — будто все это было фоном, а разговор шел только об одном. — Вас задело, что машине было все равно. — Он смотрел на нее. — Вы простояли у той стены час. Не потому, что верили, что пройдете. Потому что уйти — значило согласиться, что вас можно не заметить. А вот этого, — он чуть помедлил, — вы не переносите. Боль вы переносите. Незаметность — нет.

И это вошло глубже всего.

Потому что это было правдой — той самой, до-именной, которую Эва прятала под бритым виском, под мешковатым сукном, под всей своей колючей броней, и которую никто и никогда не называл вслух, потому что никто и никогда не давал себе труда ее разглядеть. Все видели стипендиатку у сквозняка. Теодор видел хрупкую девочку, которую надо беречь. Ирис видела соперницу, которой повезло. А этот холодный человек с пустотой вместо погоды посмотрел на нее час и увидел самое дно — голый, животный страх остаться никем, прожить жизнь в тени, исчезнуть, не оставив следа, — и назвал его так точно, что у Эвы перехватило горло.

И — вот в чем была вся отравка — назвал он его не как слабость. В его голосе не было ни жалости Теодора, ни презрения Ирис. Он назвал ее страх так, как называют не порок, а свойство — острое, редкое, пригодное к делу. Он не сказал «бедная девочка». Он сказал, по сути, «вот из чего ты сделана» — и в этом «вот из чего» было больше уважения, чем Эва получила за всю свою жизнь.

И она почувствовала это. Почувствовала, как под ужасом, под яростью на то, что ее вскрыли, поднимается то самое теплое, постыдное, что поднялось на похоронах: облегчение. Кто-то увидел. Не девочку у стены — ее. И худшее было в том, что она *знала*, что это и есть крюк, самый главный, на который ее ловят, что вся эта хирургия и была затем, чтобы она почувствовала именно это, — и все равно чувствовала. Понимание не равно иммунитету. Она расписала бы его прием по шагам и все равно тянулась к человеку, который его применял, как тянутся к теплу, не разбирая, что это — печь или пожар.

И именно потому, что она это поняла, она разозлилась.

Злость была ее топливом — она знала это за собой, — и сейчас злость вытащила ее из теплого омута и сделала холодной. Прочесть его она не могла. Но прочесть игру она могла, и для этого ей не нужен был дар, только тот острый, аналитический ум, который и пугал ее саму.

— Ты бы не сидел тут, — сказала Эва, и впервые за весь разговор ее голос не дрогнул, — не разбирая меня по косточкам целый вечер, не тратил на это столько слов, если бы я была никем. Никого не препарируют просто так. На это нет времени даже у тех, у кого его сколько угодно. — Она подалась к нему через стол. — Значит, я тебе зачем-то нужна. Не «вы», а «ты»,

и не для бумаг. Так может, хватит показывать мне, как хорошо ты умеешь меня читать, — и скажешь, зачем?

В первый раз за весь разговор Кристиан Вейер замолчал не для паузы.

Эва не могла прочесть, что в нем изменилось, — стена осталась стеной. Но она увидела это снаружи, тем зрением, что осталось ей без дара: едва заметную перемену, остановку, как замирает зрачок, когда в поле зрения попадает то, чего там не ждали. Холод не дрогнул. Но что-то за холодом — что-то, чего она не могла достать, — повернулось к ней и впервые посмотрело по-настоящему. Не на стипендиатку, которую он разбирал. На человека, который только что развернул его собственный прием и приставил острием к нему.

И это «что-то» — Эва поняла это с опозданием, уже после, лежа без сна, — было не злостью. Оно было ближе к голоду. К тому, как смотрит человек, годами не находивший себе равного, на того, кто вдруг огрызнулся.

— А вы быстрее, чем я думал, — сказал он. Тихо. И в этих словах, в отличие от всего сказанного раньше, не было ни крюка, ни ловушки. Они были просто правдой, и оттого прозвучали почти опасно.

Он поднялся — без скрипа, без усилия, не сдвинув стула, — и безветрие отступило вместе с ним, и пол под Эвой снова встал на место.

— В архиве вы ничего не найдете, — сказал он сверху, уже собираясь уходить. — Не из-за подписи. Из-за того, что там пусто. Все, что было в ее деле настоящего, забрали в ту же ночь и сожгли — вы правы. — Пауза. — Но Вивиан не была душой. Она знала, что ее бумаги однажды придут жечь. — Он смотрел на Эву сверху вниз, и холодные глаза были непроницаемы. — Такие, как она, не держат важное там, где его станут искать. Самое важное она спрятала там, куда метлы Ректората не достают. И туда, — он чуть склонил голову, — вам не войти. Подписи не хватит. Никакой.

Он повернулся и пошел прочь между стеллажами, ровный, темный, и тени ложились под его шагами чуть-чуть не туда, и белый шум книг сомкнулся за ним.

Эва осталась сидеть.

Сердце колотилось. Ее прочли насквозь, вывернули, назвали то, что она прятала всю жизнь, — и она ушла из этого разговора, не понимая толком, во что играла и проиграла ли. Скорее всего, проиграла. Он узнал о ней все, что хотел; она о нем — ничего, кроме того, что под холодом что-то на секунду повернулось на ее голос.

Но не это держало ее на стуле, не давая встать.

Он знал.

Знал, что Вивиан что-то спрятала. Знал — где. Знал это раньше, чем узнала она, раньше, чем ей вообще пришло в голову, что прятать было что; пока Эва час билась о пустой архив, он уже знал, что архив пуст и что настоящее лежит в другом месте, недостижимом. Откуда? Откуда человеку, не убивавшему Вивиан — или убивавшему? — знать, что она прятала и куда?

И еще — холоднее: он не сказал ей, где. Он сказал ровно столько, чтобы она поняла, что есть что искать и что без него ей этого не достать. Он вложил ей в руки нужду и забрал способ ее утолить, оставив себе. Он не предлагал помощи. Он просто показал ей запертую дверь и дал понять, у кого ключ.

Точно так же, мелькнуло у Эвы, как он подошел к ней не где-нибудь, а ровно у той стены, о которую она час билась. Будто знал, что она будет биться. Будто знал, что она придет сюда, и злиться будет здесь, и будет готова взять любой ключ из любой руки.

Будто все это уже было где-то записано, и она прочла свою реплику вслух.

Эва сидела за столом в гудящей библиотеке, среди уходящих в темноту книг, и впервые с той ночи думала не о том, кто убил Вивиан Астье.

Она думала о том, не ведут ли ее к этому за руку.

Глава 7. Приманка

Записку она нашла в кармане.

Эва вернулась к себе уже в сумерках, все еще перебирая в голове разговор в библиотеке, все еще слыша его последнее «такие, как она, не держат важное там, где его станут искать», — и, стягивая пальто, машинально сунула руку в боковой карман и наткнулась на то, чего там не было утром.

Сложенный вчетверо лист плотной бумаги. А в нем, завернутый, чтобы не звякнул, — тяжелый старинный ключ.

Эва застыла с пальто в руках.

Карман был внутренний, под полой, наглухо. Она надевала это пальто утром, в комнате, и не снимала весь день — в библиотеке оно было на ней. Никто к ней не подходил вплотную. Никто не касался ее — а Эва, которая всю жизнь чувствовала людей раньше, чем они приближались, которая по дрожи воздуха угадывала чужую руку за полшага, точно знала: за весь день к ней никто не подошел настолько близко, чтобы залезть в карман под полой пальто. И все же ключ был там. Лежал, теплый от ее собственного тела, словно пролежал в кармане весь день.

Можно было сунуть руку в закрытый карман, не открывая его. Можно было положить вещь туда, куда нельзя дотянуться, не потревожив ни складки. Эва знала, чья это магия, — знала с той же холодной точностью, с какой узнала в ту ночь мертвую петлю. Пространство. То самое, от которого у нее кружилась голова за библиотечным столом, когда тени ложились не туда. Кристиан Вейер не подходил к ней близко. Ему не нужно было. Он просто решил, что записка будет у нее в кармане, и она там оказалась.

И вот это испугало Эву больше всего сказанного им вслух. Потому что человек, который может положить тебе что угодно в закрытый карман, не коснувшись тебя, может однажды положить туда не записку. И ты не почувствуешь его приближения. Никакая бдительность не спасет от того, кто не приближается.

Она попробовала — по привычке, без надежды — снять с записки хоть что-то: чей след, чья рука. Бумага была пуста. Не холодна, как стена, которой был сам Кристиан, а просто пуста, вычищена, будто к ней не прикасался никто. Еще одна аккуратность. Еще одно отсутствие следа.

Эва развернула лист.

Почерк был такой же, как он сам, — ровный, без нажима, без единой лишней линии.

«Комната Вивиан Астье. Восточное крыло общежития, третий этаж, дверь без номера. Ключ подойдет. Там вы найдете то, чего нет в архиве.

Взамен — придите к нам в пятницу. Южная башня, после одиннадцати. Посидите час. Посмотрите на нас.

Это все».

Подписи не было. Подпись была не нужна.

Эва перечитала дважды, потом еще раз, и с каждым разом ей становилось холоднее — не от страха, а от того, как ясно она видела устройство этой ловушки.

Сделка была слишком легкой.

Она ждала иного. Всю дорогу из библиотеки она готовилась к тому, что цена будет страшной: что он потребует ее дар в услужение, или ее молчание, или ее саму, что он назовет что-нибудь огромное и невыносимое в обмен на доступ к тому, что спрятала Вивиан. Эва была готова торговаться, готова отказаться, готова искать обход. К чему она не была готова — это к тому, что цена окажется ничтожной. Ключ от запретной комнаты, которую охраняет весь Ректорат, — за час сидения в кресле. Огромное — за пустяк.

И именно в этом «пустяке» и пряталась настоящая цена. Эва знала это, как знают законы своего ремесла. Когда тебе отдают многое почти даром — значит, настоящая плата не названа. Значит, она спрятана, отложена, и она тем больше, чем меньше та, что на виду. Дешевый вход — это всегда самая дорогая дверь. Час в кресле стоил так мало, что не мог стоить так мало. За ним было что-то еще, чего Эва пока не видела, и невидимость и делала эту цену огромной.

И еще одно она отметила, холодея. У него был ключ. У Кристиана Вейера был ключ от личной комнаты убитой девочки — комнаты, в которую не пускают и Ректорат. Откуда? Что связывало его с Вивиан настолько, чтобы у него остался ключ от ее двери? Близость? Или это он запер ее комнату и забрал ключ, как забирают трофей? Чем больше Эва смотрела на тяжелую старую бородку в своей ладони, тем больше вопросов в нее вращалось, и ни один не вел к покою.

— Я надеялся, что слухи врут.

Эва вздрогнула и обернулась. В дверном проеме стоял Теодор.

Он не входил — стоял на пороге, как стоят, когда не уверены, что им рады, и лицо у него было непривычно несчастное.

— Какие слухи, — сказала Эва, и это не было вопросом. Она уже знала какие.

— Что тебя видели в библиотеке. С Вейером. — Теодор шагнул внутрь, прикрыл дверь и понизил голос, хотя Надин не было — она с утра сидела в читальном зале, гоняя себя перед какой-то проверкой, и Эва видела утром ее серое от недосыпа лицо. — Что он подсел к тебе и говорил с тобой долго. — Он смотрел на Эву так, будто надеялся, что она засмеется и скажет, что это чепуха. — Эва. Скажи мне, что это ничего не значит.

— Мы говорили, — сказала Эва. — Это запрещено?

— С ними — да. — Теодор провел рукой по лицу. Вся его обычная ровная мягкость куда-то делась; под ней Эва впервые увидела настоящий, неподдельный страх — не за себя, за нее. — Послушай. Я знаю этих людей лучше, чем ты. Я из того же круга, я рос среди таких семей. «Золотое сечение» — это не клуб умников, которым завидуют. Это что-то другое. Люди, которые подходят к ним близко, не возвращаются прежними. — Он помолчал, словно решая, говорить ли, и все-таки сказал тише: — Вивиан тоже была их. И посмотри, чем кончилось. Она перед смертью изменилась. Я видел ее в последний месяц — она была как тень. Я не верю, что она просто переутомилась, Эва. Я ни во что из этого не верю. И не хочу, чтобы ты подходила к тому краю, с которого она сорвалась.

Эва смотрела на него и чувствовала, как в ней борются две вещи.

Одна — благодарность. Он не лгал, и он боялся за нее по-настоящему, и он один из всех — кроме мертвой девочки у нее под ребрами — не верил в красивую версию про переутомление. Он только что, сам того не зная, подтвердил то, что Эва знала: Вивиан изменилась перед смертью, что-то с ней происходило. Это была крупница, настоящая крупница, и Эва бережно отложила ее к остальным.

Другая — холодное, знакомое сопротивление. Потому что под страхом Теодора, под искренней заботой, лежало все то же, что лежало под кофе в библиотеке и под «позволь мне об этом позаботиться» на похоронах: уверенность, что Эва — хрупкая, что ее надо уберечь, что есть он, взрослый и знающий, который оградит ее от края, если она будет умницей и отступит. Он не сказал «давай разберемся вместе». Он сказал «не подходи». «Держись подальше». «Я не хочу, чтобы ты». Он предлагал ей не правду — он предлагал ей не знать. Спрятаться за его спиной, остаться маленькой, целой и в стороне.

И вот этого Эва не могла.

Она поняла это с горькой ясностью, глядя в его хорошее, встревоженное лицо. Теодор протягивал ей светлую, теплую клетку — ровно такую, о какой она мечтала когда-то, в другой жизни, у запертой двери. Безопасное место, где о тебе позаботятся, где не надо бояться. И еще месяц назад она, может быть, шагнула бы туда. Но месяц назад она не держала под ребрами

чужую смерть. Месяц назад человек с пустотой вместо погоды не посмотрел на нее в упор и не назвал вслух то, что было ее дном, — не как порок, а как силу. Теодор видел в ней девочку, которую надо спасти от края. Кристиан видел в ней ту, кто стоит на краю и смотрит вниз с интересом. И как бы ни было страшно второе — а оно было страшно, — оно было правдой о ней, а правда, даже отравленная, тянула сильнее любой теплой лжи.

«Держись подальше» означало «снова стань никем». А этого, как точно сказал ей сегодня человек, которому она не могла этого простить, Эва не переносила.

— Спасибо, — сказала она. Мягко, насколько еще могла. — Я слышу тебя. Правда.

— Но не послушаешь, — тихо сказал Теодор. Он смотрел на нее, и в его глазах было что-то похожее на то, как смотрят вслед уходящему поезду. — Я вижу. — Он шагнул было к ней, будто хотел взять за руку, и остановился. — Что он тебе предложил, Эва?

— Ничего, — сказала Эва.

Она солгала легко, привычно, и солгала теплому, хорошему человеку, который пришел ее спасать, — потому что сказать правду значило надеть на него ту же петлю, что висела на ней, а еще потому — и от этого было особенно нехорошо, — что правда теперь была ее, и она не желала ею делиться. Ни с кем. Кроме, может быть, того единственного, кто и так уже все про нее знал.

Теодор постоял еще мгновение. Потом кивнул — медленно, признавая поражение, которого она ему не объясняла, — и ушел, тихо притворив за собой дверь.

Эва осталась одна с ключом в одной руке и запиской в другой.

Она знала, что это ловушка. Знала, что цена в час сидения слишком мала, чтобы быть настоящей ценой, что за ней спрятано что-то большое и пока невидимое, что человек, проживший ей записку в закрытый карман, не приближаясь, способен положить туда однажды что угодно. Она расписала бы эту приманку по шагам, как расписала в библиотеке каждый его крюк.

И все равно — как и в библиотеке — это ничему не помогало.

Потому что в другой руке у нее был ключ от единственной двери, за которой лежала правда о смерти Вивиан Астье, — правда, которую больше нигде не достать, которую вычистили из воздуха и сожгли из архива, и которая теперь существовала только за дверью без номера на третьем этаже восточного крыла. И отказаться от ключа значило согласиться не знать. Остаться у стены. Стать опять той девочкой, мимо которой проходят, не заметив.

Эва сжала ключ в кулаке.

Она пойдет. Возьмет то, что за дверью. И в пятницу придет к ним — на час, с поднятыми стенами, холодная и внимательная, — и будет смотреть на них, как смотрела сегодня на четверых в Атриуме, снимая слой за слоем; будет изучать их, а не они ее. Она войдет в их логово не жертвой, а тем, кто пришел читать. Она будет умнее. Она перехитрит его.

Так думает рыба о черве, шепнул в ней тонкий, трезвый голос, тот самый, что замечал все. Так думает каждая рыба ровно до того мгновения, как крючок входит в небо.

Эва задула лампу.

Где-то очень глубоко, под расчетом, под страхом, под решимостью, ей не давала покоя одна вещь — та же, что не дала встать со стула в библиотеке. Кристиан написал «придите к нам в пятницу» так, будто пятница была уже решена. Будто он не предлагал ей выбор, а сообщал расписание. И самым страшным было то, что он, кажется, не ошибался: она уже знала, что пойдет, — знала с той секунды, как нащупала ключ в кармане, в который не клала его сама.

Она лежала в темноте, сжимая чужой ключ, и не могла отделаться от ощущения, что только что прочла вслух реплику, написанную для нее кем-то другим.

Глава 8. Комната мертвеца

Ключ повернулся легко, и эта легкость насторожила Эву прежде, чем дверь поддалась.

Замок был смазан совсем недавно — язычок ушел в паз бесшумно, как нож в масло. За дверью без номера, заброшенной, по всем признакам забытой, кто-то ухаживал. Эва задержалась на пороге, держа ладонь на холодной бронзовой ручке, и прислушалась к коридору за спиной. Восточное крыло в этот час спало. Газовые рожки горели через один, экономя, и длинные промежутки темноты между ними дышали сыростью и старым камнем. Где-то под полом ровно гудело море.

Она вошла и притворила за собой дверь.

Комната оказалась узкой и стылой, словно холод копился здесь годами, прежде чем в нее поселили живого человека. Одно окно глядело на север, в черноту, где угадывалось море; стекло запотело изнутри, и по нижнему краю выросла тонкая корка соли. Под окном стоял письменный стол, развернутый к стеклу, к темноте, к тому, что приходит с моря. Узкая кровать у стены была застелена казенным серым одеялом, разглаженным до плоскости стола. Книжная полка тянулась вдоль другой стены, и Эва, скользнув по ней лучом своего маленького ручного фонаря, увидела, что половина ее пуста: в пыли остались светлые прямоугольники там, где недавно стояли корешки. Книги вынесли. Аккуратно, по одной, оставив пыль ненарушенной вокруг проемов.

Запах в комнате Эва узнала сразу, и от этого узнавания у нее похолодело под ложечкой. Та же сухая, вычищенная пустота, что встретила ее в кабинете Вивиан под утро, когда люди в сером пустили по углам свой бесцветный дым. Здесь побывали те же руки. Вытерли поверхности, выгребли бумаги, пустили дым, который съедает следы. Сент-Освальд добрался и до этой безымянной двери на третьем этаже, и сделал свою работу с той же безупречной тщательностью, с какой делал все.

И все-таки они опоздали. Это Эва поняла, едва переступив порог. Дым выел свежий верхний слой, но комната была старая, обжитая долго, и под выеденным слоем лежали другие, глубже, куда чужая химия не достала. Воздух хранил тонкую, почти стершуюся память о девушке, которая провела здесь годы: запах остывшего чая вьелся в дерево стола, легкая горечь чернил — в половицы под ним, и поверх всего висело то особенное, разреженное присутствие, которое Эва теперь связывала только с Вивиан. Ощущение человека, который занимал в мире вдвое меньше места, чем имел право. Который входил в собственную жизнь наполовину, на цыпочках, готовый в любую секунду исчезнуть, не оставив пятна.

Эва медленно обошла комнату по кругу, ведя пальцами в перчатке по краю стола, по спинке единственного стула, по холодному подоконнику. Перчатка глушила, давала только глухой фон, и фон этот был ровным, бледным, почти мертвым — следствие дыма. Тогда она сняла перчатку с правой руки и тронула стол голой ладонью, в том месте, где дерево было светлее, истертое локтями за тысячи часов работы.

В нее вошла усталость. Долгая, многомесячная, истончающая — усталость человека, который не позволял себе спать, потому что во сне нельзя считать варианты. Эва держала ладонь на столе и чувствовала, как Вивиан сидела здесь ночь за ночью, лицом к черному окну, и что-то решала, без передышки, до самого края своих сил. Она убрала руку прежде, чем усталость стала ее собственной. Дар брал свое: за спиной, у основания черепа, проснулась знакомая тупая игла отката, и во рту проступила слабая, медная горечь. Низкая цена. Она заплатит ее и пойдет дальше.

То, что вынесли, рассказывало об умершей не меньше, чем то, что осталось.

Эва остановилась посреди комнаты и принялась читать пустоту, как читала бы текст. С полки исчезли книги — стало быть, в книгах прятались пометки, которые сочли опасными.

Со стола исчезли все бумаги до единой — стало быть, Вивиан писала, и написанное кому-то мешало. На стене над столом темнел прямоугольник чуть гуще остального — там что-то висело, карта или схема, и это «что-то» сорвали в спешке: уголок бумаги так и остался под кнопкой, крошечный треугольник, который дым не тронул, потому что не заметил. Эва сняла его, поднесла к фонарю. Край рисунка от руки: несколько тонких линий, кусочек дуги, обрванная цифра. Ничего, что можно прочесть. Достаточно, чтобы знать: Вивиан работала здесь над чем-то, что Ректорат пожелал стереть до последнего листа.

Девочка, у которой все всегда хорошо во всех вариантах сразу, тайно жгла свечу в безымянной комнате, развернутой к морю, и считала что-то ночами, пока не валилась с ног.

Эва опустилась на колени у стены под столом — туда, куда первым делом смотрит всякий, кто прятал что-нибудь сам и знает повадки прячущих. Половицы здесь были старые, раскохшиеся, и плинтус вдоль стены отходил от них на волосок. Она провела голый ладонь вдоль его нижнего ребра, медленно, сантиметр за сантиметром, и на середине стены ладонь остановилась сама.

Здесь дым не прошел.

Из-под плинтуса в нее потекло — узкой, плотной, живой струей, сбереженной в щели, как сберегается тепло под одеялом. Эва замерла, прижав ладонь к дереву, и приготовилась к худшему. Все, что осталось от Вивиан в этом замке, отдавало ужасом: смерть в кабинете, мертвая петля на двери, разорванные линии чужого крика, который Эва носила в себе четвертый день. Она ждала еще ужаса. Свежей черной воды. Стен, смыкающихся вокруг ищущей руки.

Струя из-под плинтуса была холодной и ровной, как вода в глубоком колодце.

Никакого крика. Никакой паники. То, что копилось здесь, в тайнике под полом, родилось из совсем другого состояния — из собранности такой плотности, что Эва ощутила ее почти как давление на виски. Так чувствует себя ум, сведенный в одну точку, отсекающий все лишнее, работающий на пределе и в полном покое одновременно. Состояние мастера за работой. Состояние того, кто не мечется в страхе, а решает задачу, зная каждый ее ход наперед. Серьезное, сосредоточенное, почти безмятежное усилие — и в самой его глубине, на дне колодца, угадывалось что-то еще, тонкое и страшноватое, чего Эва пока не могла назвать. Похожее на твердость человека, который уже все для себя решил.

Это сбilo ее с толку сильнее любого ужаса.

Потому что ужас был бы понятен. Загнанная, испуганная Вивиан, прячущая улики от тех, кто пришел за ней, — такую картину Эва сложила бы за секунду. Но из щели под плинтусом дышала не загнанная жертва. Дышал человек, который сел за этот стол с холодной головой, сделал что-то медленно и тщательно, спрятал сделанное там, где не найдут, — и встал, не уронив чашки. Спокойствие, с каким это пряталось, означало, что прятали задолго до страха. Раньше мертвой петли. Раньше ужаса в кабинете. Тогда, когда Вивиан Астье еще владела собой целиком и видела впереди достаточно, чтобы действовать без спешки.

Эва поддела плинтус ногтями. Старое дерево скрипнуло, подалось, отошло от стены, и за ним открылась узкая черная щель между половицей и кладкой — ровно такая, чтобы туда легло что-нибудь плоское.

Она посветила фонарем. В глубине, обернутый в потемневшую от времени холстину, лежал плоский сверток.

Эва протянула руку и коснулась холстины кончиками голых пальцев. Сосредоточенность из-под пола поднялась ей навстречу, обняла ладонь, потекла вверх по запястью — спокойная, плотная, всепоглощающая, и где-то в самой ее сердцевине билась та тонкая твердая нота, от которой по спине шел холодок. Сверток был теплым. Не от тепла — от того, что в нем спало.

Она вытащила его из щели и взяла обеими руками. Легкий. Слишком легкий для книги, слишком плотный для одного письма. Под пальцами сквозь холстину прощупывался переплет — мягкий, потрепанный, с загнутыми углами, как у тетради, которую долго носили при себе.

Игла отката за глазами зашла короткой острой вспышкой, напоминая о цене, и Эва, поморщившись, прижала сверток к груди и поднялась с колен. Времени оставалось мало; коридор за дверью не будет пуст вечно. Она задвинула плинтус на место, ладонью стерла след своих коленей с пыльного пола, обвела комнату последним взглядом — стол лицом к черному морю, разглаженное серое одеяло, светлые проемы на месте вынесенных книг — и шагнула к двери.

Уже взявшись за ручку, она остановилась.

В свертке у ее груди дышала чужая собранность, и от этого дыхания внутри Эвы что-то медленно переворачивалось. Четыре дня она строила все на одном: Вивиан застали врасплох, Вивиан не успела, Вивиан рвалась к спасению и не нашла его. Под плинтусом лежало возражение этой картине, теплое и тяжелое, и Эва еще не знала, как с ним быть. Девушка, которую убили в запертой комнате, готовила что-то заранее, с холодной головой, зная каждый ход. Готовила и прятала — словно знала, что ее комнату однажды придут чистить. Словно видела, как придут.

Эва погасила фонарь, сунула сверток за пазуху, под пальто, ближе к телу, и выскользнула в темный коридор.

То, что она держала на груди, еще предстояло развернуть. И впервые с той ночи Эва не была уверена, что хочет увидеть, что внутри.

Глава 9. Находка

Сверток грел ей ребра всю дорогу вниз, и это тепло не давало Эве покоя.

Она прижимала его к телу под пальто, спускаясь темными лестницами восточного крыла, и убеждала себя, что тепло идет от нее самой, от собственной разгоряченной кожи. Объяснение было разумным. Объяснение не держалось. Под холстиной что-то теплилось своим, ровным, чуть пульсирующим теплом, какое бывает у спящего зверька за пазухой, и чем дольше Эва несла сверток, тем меньше ей нравилось, как точно он совпадает с ее собственным сердечным ритмом.

Замок спал. Газовые рожки роняли желтые лужи света через равные промежутки темноты, и Эва шла из лужи в лужу, держась стены, ступая на внешние края ступеней, где доски не скрипят. Этому она выучилась раньше, чем читать. Дом, в котором надо ходить бесшумно, учит ходить бесшумно быстро.

На площадке перед стипендиатским коридором ее ждала Ирис.

Не караулила — Эва не настолько себе льстила. Ирис просто возвращалась к себе в тот же глухой час, со стопкой книг под мышкой и серым от бессонницы лицом под безупречной, наспех заколотой укладкой; она загоняла себя по ночам так же, как загоняла днем, выскребая из себя аристократку, которой не родилась. Они едва не столкнулись на повороте. Ирис отступила, окинула Эву одним быстрым, все подмечающим взглядом — от ночной одежды к плотно прижатой к груди руке, к неловкой выпуклости под пальто, которую Эва не успела сгладить, — и улыбнулась своей светлой, ядовитой улыбкой.

— Поздно гуляешь, Каррен, — пропела она. Голос у нее был мягкий, теплый сверху и кислый на самом дне. — И не с пустыми руками. — Взгляд ее на долю секунды задержался на руке Эвы, прижатой к груди, и в этом взгляде шевельнулось что-то цепкое, голодное, складывающееся. — Везет же некоторым. То в нужном крыле в нужную ночь, то еще что-нибудь интересное под полой. — Улыбка стала шире, заострилась. — Смотри не растеряй свое везение. Оно ведь такое заемное.

Эва не ускорила шаг и не замедлила его. Она прошла мимо ровно так, как прошел бы человек, которому нечего прятать, чуть кивнув, не разжав губ. Но спиной, всем своим чутьем, она чувствовала, как Ирис стоит на площадке и смотрит ей вслед, и как в этой зависти, плотной и старой, что-то отметилось, отложилось, занесло в чью-то внутреннюю опись: у Каррен есть тайна, у Каррен есть что-то под полой. Эва шла к своей двери и понимала, что нажила еще одну трещину, через которую за ней теперь будут следить.

Надин спала, отвернувшись к стене, и дышала медленно и глубоко, как дышат, когда наконец-то провалились в сон после многих часов борьбы с ним. На ее столе так и громоздились раскрытые книги. Эва постояла над ней секунду, прикрутила фитиль лампы до самого слабого теплого огонька, села на пол у своей кровати, спиной к спящей, и развернула холстину на коленях.

Тетрадь легла ей в ладони — мягкая, истертая, с загнутыми, обмякшими от частого перелистывания углами. Переплет когда-то был хорошим, дорогим; теперь кожа на нем пошла трещинами, потемнела от прикосновений. Эва раскрыла его наугад, на середине.

Текста не было. Ни строчки, ни даты, ни подписи. Только рисунки.

Они хлынули ей в глаза прежде, чем разум успел навести порядок. Нервные карандашные линии, продранные в бумагу с такой силой, что местами грифель прорывал лист насквозь. Рваные контуры, оборванные на полудвижении, как фразы, которые не договорили. И поверх карандаша, сквозь него, под ним — акварель: грязноватые, полупрозрачные кляксы, расплывшиеся без всяких берегов, наслоенные одна на другую, бурые и сизые, как застарелые кровоподтеки на чужой коже. Они растекались по страницам без смысла и без направления, затоп-

ляя рисунок там, где ему полагалось дышать, и оставляя сухим то, что просило цвета. Хаос. Чистый, безоглядный хаос человека, у которого рука уже не слушалась головы.

Эва медленно листала, и от страницы к странице хаос густел.

Первые листы еще хранили остатки строя: угадывались контуры — то ли коридора, то ли лестницы, уходящей вниз, то ли свода над чем-то округлым. Дальше строй рассыпался. Линии множились, наезжали друг на друга, рвались; кляксы заливали все больше, расплзались, тонули в самих себе. На одном развороте карандаш ходил кругами, виток за витком, все туже, пока не прорвал бумагу в самом центре спирали — там зияла дыра с обугленными краями, словно острие в этой точке не выдержало и сгорело. Эва смотрела на эту страницу долго. Она знала, что видит. Она видела это сегодня в кабинете, в той размокшей насквозь странице чужого предсмертного ужаса; видела отчасти и в собственном даре, когда он зашкаливал. Распад. Хронику того, как ясный, гениальный ум осыпался внутрь себя, день за днем, лист за листом, не находя дна.

И все же что-то в этих рисунках толкнуло Эву под ребра с силой узнавания.

Она знала эту манеру. Она сама так рисовала — на полях тетрадей, по краям описей, везде, где рука оставалась без дела: те же рваные, торопливые контуры, та же привычка договаривать карандашом то, для чего нет слов. Глядя на чужие исступленные страницы, Эва вдруг увидела свои собственные поля, исчерканные в минуты, когда внутри становилось невыносимо тесно. Вивиан говорила на ее родном языке. На языке, которому не учат, который вырастает сам у тех, кому нечем больше выговориться. И от этого внезапного, непрошеного родства с мертвой девочкой у Эвы перехватило горло: она держала на коленях не улику, а исповедь, написанную почерком, который умела читать, кажется, она одна во всем Сент-Освальде.

В нижнем углу одной из самых исчерканных страниц, втиснутая в свободный клочок белого, бежала строчка цифр — мелких, аккуратных, выведенных с той же педантичной точностью, с какой Вивиан, должно быть, считала когда-то свои варианты:

только один из 14 017 302.

И больше ничего. Ни до, ни после. Обрывок мысли, нырнувший обратно под воду прежде, чем Эва успела его разглядеть. Она задержалась на нем на мгновение, прикинула так и эдак — и отпустила. Числа у безумной провидицы значили примерно то же, что круги карандаша вокруг прорванной дыры: симптом. Девочка, которая видела миллионы вариантов своей жизни одновременно, под конец, надо думать, тонула в этих миллионах, считала их во сне и наяву, пыталась удержать необъятное на клочке бумаги. Эва перевернула страницу, и строчка осталась позади, забытая, как забывают бормотание сумасшедшего, мимо которого прошел по улице.

Она долистала до последних страниц. Здесь не осталось уже почти ничего, кроме клякс: тяжелых, черно-багровых, налитых, словно сама бумага под ними кровоточила. И на самой последней — один-единственный штрих поперек разворота, длинный, оборванный, проведенный, похоже, в тот миг, когда рука уже падала.

Эва закрыла тетрадь.

И почувствовала под ладонями тепло.

Дневник был теплым. Не холстина, не ее собственные руки — сам потрепанный переплет грел ладони ровным, живым теплом, и под этим теплом, на самой грани ощутимого, что-то медленно билось. Размеренно. Терпеливо. Так бьется пульс под кожей у спящего, который вот-вот проснется. Эва сидела на холодном полу в полуночной комнате, прижимая к себе тетрадь умершей девочки, и держала на руках что-то, что дышало.

Бумага так не делает. Бумага не теплеет и не отвечает на сердцебиение того, кто ее держит. Но Эва уже знала об этом замке достаточно, чтобы не списывать невозможное на усталость. Дневник Вивиан хранил в себе не просто рисунки. В нем что-то спало — то самое сосредоточенное, плотное, спрятанное под пол раньше всякого страха, — и оно ждало. Эва не

понимала чего. Она чувствовала только, что эти исступленные, нечитаемые страницы заперты так же наглухо, как была заперта дверь кабинета, и что у них тоже есть свой ключ, которого она пока не нашла.

Она завернула тетрадь обратно в холстину, отогнула край собственной половицы у изголовья кровати и спрятала сверток туда, в темноту, к стене, где никакая Ирис не дотянется. Половица легла на место с тихим стуком. Надин за спиной ровно дышала во сне.

Эва задула лампу и легла поверх одеяла, не раздеваясь, лицом к потолку.

В темноте ей казалось, что она и сквозь пол слышит, как под доской ровно, терпеливо бьется чужое теплое сердце, дожидаясь, когда она поймет, как его открыть.

Глава 10. Логово

За дверь Южной башни кончался один мир и начинался другой.

Эва поднималась сюда по холодной винтовой лестнице, считая ступени, считая дыхание, держа лицо собранным с той минуты, как переступила порог башни вниз. Весь подъем пах сыростью и старым камнем — тем же, чем пах весь Сент-Освальд. А потом дубовые двери с позолоченным гербом отворились перед ней изнутри, без стука, словно ее ждали, — и в лицо ударило теплым, густым, обжитым воздухом, какого Эва не вдыхала с того дня, как ее выплюнул на остров черный экспресс.

Здесь горел камин — настоящий, большой, в полстены, и пламя его лежало живыми отсветами на корешках книг, на гранях хрусталя, на темном дереве, отполированном до глубины. Тяжелые портьеры цвета запекшейся крови падали с потолка до пола, отрезая комнату от штормовой ночи за стенами. Пахло коньяком, старой кожей кресел, воском и сигарным дымом — тем особым дорогим дымом, что въедается в богатые комнаты и держится в них десятилетиями. Под ногами лежал ковер, в котором тонула нога. Антикварная мебель стояла так, как стоят вещи, простоявшие на одном месте сто лет и уверенные, что простоят еще столько же. Все здесь говорило о деньгах и власти не криком, а вполголоса, посадкой, выделкой, тем спокойствием, какое дает только право.

Эва стояла на пороге этого тепла в своем мешковатом темном сукне, с бритым виском и колечком в носу, и кожей чувствовала, как нелепо она здесь смотрится. Так и было задумано — Кристиан позвал ее посидеть час и посмотреть на них. Теперь она поняла вторую половину сделки: посмотреть полагалось и им. На нее. На то, как чужая ей роскошь обтекает ее и не принимает.

— А вот и наша гостя.

Голос был безупречно вежлив и резал, как тонкое стекло. Селина Ваттен поднялась из кресла у камина — фарфоровая, гладкая, в шелковой блузе цвета слоновой кости, с ниткой жемчуга у горла — и пошла навстречу Эве с улыбкой, в которой было ровно столько тепла, сколько в жемчуге. Вблизи ее красота оказалась болезненно-совершенной, выглаженной до последней мелочи. Эва скользнула по ней привычным взглядом и отметила то, чего не разглядела на похоронах: легкую, на грани видимого, дрожь в кончиках пальцев и то, как рукав блузы чуть сполз с запястья, открыв полоску кожи, расчесанной до красноты и наспех припудренной.

— Мы все наслышаны, — продолжала Селина, останавливаясь в шаге и складывая руки. — Девочка, которая нашла бедную Вивиан. Какая удача для вас. — Она чуть склонила голову, разглядывая Эвин висок, ее одежду, ее ботинки. — И какой любопытный выбор облика. Должно быть, там, откуда вы, это считается смелым.

Эва выдержала взгляд, не отвечая. Под фарфором у Селины что-то скреблось — ровно, неустанно, по одному и тому же месту, как ноготь по стеклу. Виной это было или просто так устроена сама Селина, прочесть с одного взгляда Эва не могла. Скрежет был, и Эва занесла его в опись, и пошла дальше.

— Селина, ты ее пугаешь. — От стола у окна отделился второй и пошел к ним легкой, быстрой походкой, на ходу улыбаясь так, словно встретил старого друга. Феликс Дорн вблизи был еще красивее, чем издали, — той ровной, располагающей красотой, что обезоруживает прежде, чем человек откроет рот. — Не слушайте ее, — сказал он Эве заговорщически. — Селина пугает всех, у кого волосы короче ее предрассудков. Меня зовут Феликс. Идемте, у огня теплее, вы продрогли на этой проклятой лестнице.

Он был обаятелен, и обаяние его обволакивало, и от этого Эве стало холоднее, чем от всей Селининой стужи. Она попыталась прочесть его — мельком, осторожно — и снова, как на похоронах, провалилась в зыбь: то одно, то другое, то третье, и ни в чем уверенности. Феликс

показывал ей дружелюбного юношу, и Эва почти видела дружелюбного юношу, и где-то под этим «почти» лежало знание, что видит она ровно то, что он решил ей показать.

Она прошла к огню, куда он звал, и села на край предложенного кресла, не утонув в нем, держа спину прямо. В дальнем углу, в тени, куда не доставал свет камина, сидел третий.

Нэйл Вест не поднялся ей навстречу и не назвался. Он сидел очень тихо, сложив руки на коленях, и руки эти Эва разглядела сразу: кончики пальцев у него были темными, синюшно-серыми, словно прихваченными морозом или начавшими медленно отмирать. Лицо его в полумраке казалось вылепленным из той же бледности. Он смотрел на огонь, и на Эву поднял глаза не сразу, а когда поднял, в них не было ни Селининой неприязни, ни Феликсова радушия — только ровная, выстуженная пустота человека, которому давно все равно.

— Вы трогали ее, — проговорил он медленно, и голос его был под стать рукам, остывший, без выражения. — Мертвую. Я чувствую на вас ее след. — Он сказал это так, как говорят о погоде за окном. — Свежая смерть липнет. Отмывается долго. — Пауза, долгая, как вздох. — Привыкнете.

Эва не нашла, что ответить. В этом ровном, мертвом голосе не было угрозы — было что-то почти похожее на сочувствие, высказанное единственным доступным ему способом. И под выстуженной пустотой Нэйла, как и на похоронах, лежало то старое, слежавшееся горе, которое Эва тогда приняла за трещину. Теперь, вблизи, она увидела его яснее: он горевал давно и постоянно, по чему-то, чего уже не вернуть, и горе это въелось в него так же, как чернь въелась в его пальцы. На секунду в Эве шевельнулась к нему та же короткая, острая жалость. Она отложила и ее.

Кристиан не вставал и не говорил.

Он сидел чуть в стороне от всех, в кресле у книжных полок, с бокалом в руке, к которому не притрагивался, и наблюдал. За ней, за остальными, за тем, как комната пробует ее на зуб. Его безветрие лежало на всем этом тепле тонкой коркой холода; тени у его кресла падали едва-едва не туда, куда им полагалось от камина, и от одного взгляда в тот угол Эву привычно подташнивало. Он позволил Селине уколоть, Феликсу обаять, Нэйлу обдать могильным холодком — и смотрел, что выйдет. Дирижер, опустивший руки и слушающий, как звучит оркестр без него.

— Коньяку? — предложил Феликс, уже наливая, не дожидаясь ответа. — Не отказывайтесь, это оскорбит память погребца. Ему двести лет, он переживет нас всех. — Он сунул ей в руку тяжелый бокал и опустил напротив, перекинув ногу через подлокотник. — Ну? Каков он, нижний мир? Мы тут наверху совсем одичали. Расскажите, у вас правда сидят у дверей, где дует? Селина клянется, что это выдумки.

— Это не выдумки, — сказала Эва.

— Восхитительно, — выдохнул Феликс с непритворным удовольствием. — Видишь, Селина? Я же говорил. — Он отпил из своего бокала и вдруг, без перехода, кивнул на портьеры за ее спиной: — А вид у нас отсюда лучший в Сент-Освальде. Обернитесь.

Эва обернулась. Между двумя кровавыми портьерами открывалось высокое стрельчатое окно, и за ним, в свете далекой луны, билось о скалы свинцовое море — валы вставали и обрушивались, белые на черном, и брызги долетали, казалось, до самого стекла. Зрелище было огромным и страшным. Эва смотрела на него секунду, две — потом моргнула, и что-то сместилось.

Когда она моргнула снова, между портьерами была глухая каменная стена. Ни окна, ни моря, ни луны. Только камень, гобелен на нем и теплый отсвет камина.

Она резко повернулась к Феликсу. Тот смотрел на нее поверх бокала, и в углах его рта пряталось удовольствие.

— Что-то не так? — спросил он невинно.

— Там было окно, — сказала Эва ровно, не позволив голосу дрогнуть.

— Разве? — Феликс пожал плечами, все с той же легкой улыбкой. — Здесь не стоит слишком доверять глазам, знаете. Глаза — самый ленивый из наших органов. Им покажешь море — они и рады морю. — Он отсалютовал ей бокалом. — Добро пожаловать в Южную башню.

Эва отвернулась к стене — глухой, каменной, бесспорной — и почувствовала, как по спине прошел холодок, не имеющий отношения к сквознякам. Дело было не в окне. Дело было в том, что отныне все в этой комнате стало зыбким: каждая тень, каждое лицо, каждый бокал в чужой руке. Пока в ней сидит Феликс Дорн, ни один ее глаз, ни одно ее чутье не скажут ей наверняка, что перед ней настоящее. Селинин фарфор, Нэйлова чернь на пальцах, само это тепло, обнявшее ее на пороге, — все могло оказаться чьим-то любезным подарком ее усталому, доверчивому зрению.

Она поставила нетронутый коньяк на столик и

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.